

Фото Виктора ГРИЦЮКА

1.50 коп.
Индекс 73325

У СТАРОВЕРОВ НА АЛЯСКЕ. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ "КОНТИНЕНТА"

РОДИНА

ISSN 0235—7089

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ

Фото Виктора ГРИЦЮКА

НАТЕРПЕЛИСЬ...

Почему бастовали в Прокопьевске.



Фотографии ЮРИЯ КОЗЫРЕВА
















УГОЛЬ -
НАСТОЯЩИЙ
ХЛЕБ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ






За наше „счастливое" детство,

РОДИНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

4—1991

Выходит с января 1989 г.

Издательство «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

СТАРОЕ

16

Для массового читателя в истории Руси еще немало «белых нитей» — советская наука долгое время ориентирова la нас на определенную обойму имен. Из нее выпало и это интересное имя — князь Довмонт. О нем — предлагаемый материал.

80

Мы продолжаем рубрику «Семейный летописец», посвященную нашей родословной.

82

Воспоминания Зинаиды Гиппиус публикуются сейчас довольно широко. Отрывки из дневников 1917 года пока еще малоизвестны.

НОВОЕ

7

Права нации и права человека. Этой актуальной теме посвящена сегодня наша постоянная рубрика «Точка зрения».

8

В России родился новый университет. Он организован на базе Московского государственного историко-архивного института. О том, каким будет новый вуз, размышляет ректор Юрий Афанасьев.

ВЕЧНОЕ

59

Вас ждет интересная встреча с народным мудрецом, художником Ефимом Честняковым. Через толщу лет долетел к нам его сокровенный голос. Мы познакомим вас с отрывками из дневников кологривского провидца и никогда не публиковавшимися ранее работами.

66

Мифологическая проза представлена сегодня устными рассказами, записанными на Урале.

76

В подборке материалов, рассказывающих о журнале «Континент», есть публикация о непреходящем — о гении Шостаковича. Воспоминаниями о нем делится Тамара Грум-Гржимайло.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТАК ЧТО ЖЕ ВЫШЕ?



ЮРИЙ БАТУРИН,
кандидат юридических наук

«Суверенитет», «верховенство», «права человека», «право нации на самоопределение» — эти термины слышишь сегодня по всякому поводу и в любых сочетаниях. Поражают не столько невероятные размеры их политизации, сколько масштабы путаницы. А когда путаница политизируется, политика неминуемо начинает путаться.

Чаще всего споры идут прямотаки на олимпийском (хотя, с сожалением надо заметить, в манере, далекой от идеалов Пьера де Кубертена) уровне: что выше? Суверенитет Союза или республик? Права человека или суверенитет государства? Права человека или права нации?

Так что же выше?

Латинское слово superanus, перешедшее в старофранцузское sovrains — суверен, означает «верховный». Сложилось так, что «суверенитет» стал означать различные понятия. Например, в германской традиции под суверенитетом понимается особое свойство власти — ее верховенство. В англо-французской — суверенитет обычно отождествляется с самой суверенной властью. (В скобках замечу, что у нас, видимо, складывается своя традиция, для которой характерны высокая категоричность и неимоверная туманность.)

Суверенитет государства сегодня положен в основу политики. У чиновников стало модным держать в кабинетах под стеклом и в рамке Декларацию республики имярек о суверенитете. Но зададимся вопросом: кому принадлежит верховная власть в государстве?

Во времена первой французской революции была выдвинута идея народного суверенитета. В статье 3 Декларации прав человека и гражданина она была сформулирована так: «Принцип всякого суверенитета принадлежит народу; никакая коллегия, никакой индивидуум не могут пользоваться властью, не исходящей явно от народа».

Но суверенитет принадлежит не только всему народу как целому, но и каждому гражданину в отдельности. «Поэтому, — утверждал Робеспьер, — каждый индивидуум имеет право... участвовать в установлении законов, которые налагают на него обязанности, и в управлении общественными делами, которые суть его дела».

Принцип верховенства народа берет свое начало в исторических далях античной демократии, но основой демократии современной он становится с 1762 года — даты появления «Об общественном договоре» Руссо, который высказался решительно и недвусмысленно: «Ничто не может лишить гражданина права голоса во всех актах суверенитета».

Для правильного понимания природы государственного общения необходимо различать народ как государственное единство, имеющее верховенство в установлении законов, велении всем гражданам в отдельности, и народ как сумму этих отдельных граждан, обязанных подчиняться законам, велениям того же единства.

Таким образом, народ является и управляющим, и управляемым. Как управляющий, он — суверен, он имеет права на осуществление власти. Правда, народ никогда не делает всего того, что фактически мог бы делать: обычно он поручает это органам власти. Для удовлетворения своих интересов, в том числе и возможностей участвовать в управлении, каждый отдельный гражданин нуждается в известной сфере свободы, которая должна быть неприкосновенна от воздействия государства и других лиц, нуждается в известной сфере власти над самим собой. Такая сфера свободы или власти называется гражданскими правами. Двойное качество народа — правитель и управляемый — вызывает и разделение прав граждан на две группы — политические и личные.

Так что выше — суверенитет или права человека? Этот вопрос столь же бессмыслен, как, например, попытка уяснить, какой из двух движущихся навстречу друг другу бегунов — впереди.

Народ состоит из свободных людей. Свобода же, как свойство людей, выражается в том, что они признаются государством личностями, обладающими комплексом прав. Эти права создают определенный барьер для государства и, следовательно, некоторую границу государственного суверенитета. С другой стороны, еще Декларация прав 1789 года установила, что свобода вовсе не заключается в возможности делать все, что вздумается: гражданин должен пользоваться своею свободой так, чтобы не нарушать чужие свободы. Если он об этом забывает, то государство не только вправе, но и обязано вмешаться в его действия.

Суверенитет и права человека взаимно ограничивают друг друга, но было бы неправильным выводить верховенство одного из этимологии слова «суверенитет» или другого — из принципа приоритета прав человека.

Все права человека вытекают из свободы самоопределения личности. Но и народ редко представляет собой однородное единство. У входящих в него наций тоже есть права: на самоопределение, на этническую самобытность — в совокупности их называют национальным суверенитетом.

Как и права человека, права нации нельзя поставить ни ниже, ни выше государственного суверенитета. Это тоже два взаимных ограничителя, удерживающих друг друга от произвола.

Как же в таком случае соотносятся права человека и права нации? Нация, как и народ, имеет двоиственную природу: единство людей одной национальности и сумма их. Но нация образует внутреннее единство, своего рода семью, потому что ее членов связывает друг с другом не какая-то власть, а сознание общего исторического прошлого, чувство национального единства. Уже потому, что место власти занимает чувство, нельзя говорить о верховенстве. Чувства не могут и не должны доминировать над правами, точно так же как право не должно подавлять чувство. Это разнопорядковые факторы.

Каждый человек независимо от национальности должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Следовательно, никакие национальные чувства не могут служить оправданием нарушению прав человека. Но и обратно: под знаменем защиты прав человека недопустимо унижать национальные чувства.

Дилемма — что выше: права человека или права нации? — сводится, по существу, к другому вопросу: что первичнее — свобода самоопределения личности или право на самоопределение нации? В национальной плоскости это почти проблема курицы и яйца: что раньше — русский человек или русская нация? И мы опять приходим к выводу: ничто не выше.

Стоит только признать, что права человека выше права нации, либо, наоборот, провозгласить, что суверенитет предполагает подчиненность ему прав человека, либо, что права человека позволяют игнорировать суверенитет,— и немедленно нарушится баланс прав, наступит правовой хаос или, что то же самое, произвол.

Политика, построенная на путанице понятий, помогает заблудиться. Но политика, опирающаяся на подмену понятий, — неминуемая катастрофа.

«Гуманитарные науки — общественные науки (философия, история, филология и др.) в отличие от математических и естественных наук» (Словарь иностранных слов. Москва. 1949). «Гуманитарные науки — общественные науки (история, политэкономия, филология и др.) в отличие от естественных и технических наук» (Советский энциклопедический словарь. Москва. 1986). «За внешней безобидностью такого определения кроются порочные идеи, свойственные дряхлеющей семидесятилетней геронтократической методологии. Во-первых, из него вытравлена основная идея, давшая название этим наукам,— идея гуманизма, признание ценности человека как личности, его прав на свободу, счастье, развитие. Во-вторых, сделан акцент на раздроблении гуманитарного знания. Что ж, насилию идеологической глупости вполне соответствовала утрата гуманитарной культуры» (Юрий Афанасьев, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Апрель 1991).

ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ:

Время невыносимой сверхполитизации заканчивается

Мы живем в эпоху массовых переименований. Меняют имена города и улицы, школы становятся гимназиями и лицеями, техникумы — колледжами, институты — академиями и университетами... И как не вспомнить злые и точные слова сатирика: «Господином хочешь называться? Ты на себя посмотри! Какой ты господин!» Однако к тому, что делают руководство и коллектив Московского государственного историко-архивного института, окружающие привыкли относиться серьезно. Не здесь ли весной 1987-го прозвучала первая в стране публичная лекция о Сталине, на которую ломились сотни людей, едва не порушивших небольшое старинное здание на тогдашней улице 25 Октября? Не в этих ли стенах выступили впервые после многих лет «высокого» застойного неодобрения многие прекрасные советские ученые, не сюда ли были дерзновенно приглашены западные специалисты, чья профессия — советолог — и по тем временам, казалось, содержала в себе скрытую угрозу? И вот Историко-архивный преобразован в Российский государственный гуманитарный университет. Речь идет в данном случае не о модной смене вывески, а о глубоком преобразовании. Чтобы разобраться в происходящих метаморфозах, мы обратились с вопросами к ректору нового Университета, народному депутату СССР, профессору Юрию АФАНАСЬЕВУ.

— Юрий Николаевич, нужен ли в нашей неустроенной, тяжкой, полуголодной жизни очередной университет?

— Кризис экономический и кризис гуманитарного знания связаны теснее, чем может показаться на первый взгляд. Диктат, который прервал нормальное развитие общества, уничтожил все мешавшее диктаторам: выколол глаза, вырезал язык, превратил рабочие руки в бессмысленные рабочие инструменты бессмысленного строительства. Естественные исторические процессы развития демократии, народного хозяйства, социальных отношений, политических движений, культуры, личности не только были нарушены, но и не стали объектом анализа научной мысли, источником социального опыта. И не этим ли объясняется то, что живые силы страны все еще недостаточно энергичны, а перестройка — дело и ценность народа — удается лишь как задуманная партаппаратом радикальная мимикрия тоталитаризма?

Оглянемся назад, вспомним, как вытравлялась гуманитарная культура. Без всяких преувеличений можно утверждать, что нанесенные ей удары не менее, а может быть, более страшны, чем удары по генетике, кибернетике или наукам об управлении. Страшно даже перечислять, как много было утрачено.

В 20-х — начале 30-х годов под лозунгом пролетаризации школы и науки была разорвана преемственность знания, прекратили существование целые научные области и направления, страна оказалась в изоляции от мировой гуманитарной мысли. Высылка А. А. Кизеветтера, вынужденная эмиграция В. А. Мякотина, многочисленные аресты пресекли полемику историков. История общественной мысли оказалась свернутой до тенденциозно представленной линии «Радищев — декабристы — революционные демократы». В забвение канула история экономической мысли, а кооперативная, по существу, погибла вместе с А. В. Чаяновым.

В 1918 году вместе с ликвидацией юридических факультетов университетов была уничтожена история такой важной отрасли, как государство и право. Так называемое «советское право» занялось обоснованием приоритета целесообразности над законностью. Вместе с плеядой русских философов была репрессирована история религии и религиозной культуры.

«Полная и окончательная победа социализма» поставила точку в изучении народного хозяйства. Экономическая наука превратилась в конце концов в придаток невыполнимых пятилетних планов. Утрачено, по существу, все наследие позитивистской историографии в исследовании крестьянской общины, экономических укладов, культуры. Оскудели историческая география, национальная историография, философия истории, литературоведение и текстология, на откуп математикам отдали одну из важнейших областей мировой филологии — прикладную лингвистику. Пресловутые образы А. С. Макаренко и его подопечного — беспризорника заслонили и вытеснили педагогическое наследие К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта, В. П. Острогорского, Н. Ф. Бунакова, а теория организации и деятельности детских коллективов задушила в зародыше вопрос о формировании, обучении и развитии личности. Мы построили общество гуманитарной малограмотности. И вот что особенно тревожно. Падение духовной культуры, девальвация моральных норм, утилитарная профессионализация ведет молодежь к утрате жизненных ориентиров. Между тем именно им, сегодняшним «нигилистам», будет передаваться управление обществом, хозяйством, культурой. XXI век не за горами. Если все останется по-старому, страну ждет новая катастрофа. Поэтому именно сейчас, в пору всеобщего кризиса, перед нами остро встал вопрос: кто, какой научный учебный центр возьмет на себя ответственность, риск и попытается восстановить целостность гуманитарной культуры, чтобы выйти на современный мировой уровень гуманитарного знания? Сейчас ответ определился — эти задачи ставит перед собой наш Университет.

— Но не кажется ли вам, что в самом названии заключен парадокс? Universalis — по-латыни — общий, всеобщий, совокупность. Университеты традиционно готовили специалистов по самым разным отраслям знания, а вы хотите сузить тематику. Правомерно ли тогда говорить об университетском образовании?

— Универсализм — сложное понятие: здесь не только многообразие учебных дисциплин, но и множественность научных методов, школ, подходов к вопросу, сочетание в пределах одного учебного заведения различных методик преподавания, наконец, взаимодействие нескольких уровней подготовки (школьной, вузовской и послевузовской). Чтобы все это стало реальностью, создается ассоциация «Российский гуманитарный университет», которая объединит несколько вполне самостоятельных, автономных научных и учебных заведений — не только государственных, но и кооперативных. Среди них — Международный университетский колледж социальных наук — советско-британское учебное заведение (он начнет работу в сентябре).

Российское отделение Открытого университета с центром в Гааге, кооперативный Институт российского предпринимательства (в сотрудничестве с французским университетом имени Франсуа Рабле город Тур будет готовить специалистов для малых и средних предприятий). Довузовскую подготовку в рамках той же ассоциации возьмут на себя Гуманитарный центр в Обнинске, экспериментальный комплекс «детский сад — школа — лицей» на базе 109 московской школы и лицейские классы 220 московской школы.

Продолжая разговор об универсализме, надо упомянуть, что внутри Университета сохранятся институты разного профиля (подобно тому, как существует Институт стран Азии и Африки в МГУ). По-прежнему будет работать Историко-архивный институт, а на базе его нынешних факультетов информатики и государственного делопроизводства возникнет Институт информации с факультетами информатики, документоведения и защиты информации. В учебных программах большое место займет математика. Понятно, что без математической подготовки нет и современного экономиста, и в Институте российского предпринимательства организуются серьезные математические курсы. Мы вовсе не собираемся ограничиваться гуманитарными дисциплинами в традиционном смысле.

Кроме того, в ассоциации будут осуществляться автономные учебно-исследовательские программы, в частности — с начала 1922 года — программа «Власть и право в России». Что значит «учебно-исследовательская»? Посвященный этой теме семинар объединит студентов, аспирантов и преподавателей, а руководить им будут совместно французские и советские профессора, на основе метода, разработанного французской исторической школой. Такие постоянно действующие семинары должны образоваться и на базе других принятых в мировой гуманитарной науке методологий. Скажем, в Британско-советском колледже основной станет, естественно, английская научная школа и методика преподавания, в которой отдается предпочтение индивидуальной работе — не аудитории, а библиотеке, не лектору, а научному руководителю. Свои оригинальные методики и у наших специализаций. Три из них — по древнерусским текстам, древнегреческому и латинскому языкам и по древнеиндийским языкам и культуре — уже действуют. С сентября начинается преподавание по специальности «древнееврейские тексты, архивы и культура» (в этой области у нас налажено сотрудничество с американской Еврейской духовной семинарией и Институтом еврейской истории в Нью-Йорке). В ближайшем будущем намечается открыть специализацию по арабскому языку и культуре. В целом сосуществование и взаимодействие, а иногда и соревнование различных школ и методик — один из важнейших принципов нашей будущей ассоциации.

— Но не рассыплется ли она на не связанные между собой научные и учебные учреждения? Что можно считать объединяющим, цементирующим началом?

— Пожалуй, несколько фундаментальных дисциплин, которые составляют основу гуманитарного образования любого специалиста — и историка, и социолога, и музееведа, и экономиста. В первую очередь это всеобщая и российская история, история культуры и мировых религий. Речь идет не о тех куцых курсах истории религии и атеизма, которые в советских исторических вузах запихивались в рамки одного семестра, а о многолетнем, глубоком изучении важнейшей части мировой цивилизации.

Другой предмет, необходимый сегодня для подготовки гуманитариев всех направлений,— структурная лингвистика. Ее изучение предполагает знание языков — древних и современных. Невозможно представить себе выпускника Университета и без знания основ информатики, владения компьютерной техникой.

Думаю, что современное университетское образование как раз нуждается в сочетании глубокого знания гуманитарных дисциплин с использованием методов точных наук. Надо помнить и о том, что распространенное представление об университетской подготовке, как и многое у нас в сознании, искажено. В нашей стране постепенно сформировался взгляд на университетскую программу как на преимущественно педагогическую. Я не хочу сказать, что выпускники РГГУ не смогут преподавать в школе или институте, напротив, надеюсь, что они будут способны делать это на высочайшем уровне. Но содержанием их подготовки станет не педагогика, а приобретение знаний в ходе самостоятельных исследований.

— Юрий Николаевич, в вашем рассказе преобладают формы будущего времени. Это совершенно естественно, когда речь идет о чем-то, что лишь создается. Но ваши замыслы легко объявить витанием в облаках. Существуют ли конкретные сроки преобразования вуза?

— Разумеется, оно будет постепенным. В ближайшее время структура Университета продолжит традиции, существующие в МГИАИ; как я уже говорил, сохранится сам институт. Останутся, но уже в рамках Университета, факультеты государственного делопроизводства (в перспективе — документоведения) и информатики. В дальнейшем они войдут в Институт информатики. От факультета архивного дела уже практически отпочковался факультет музееведения и охраны памятников истории и культуры.

Вторая очередь преобразований — это создание философского и исторического факультетов, а также отделений, не имеющих аналогов в стране. Одно из них — факультет политологии, социологии и демографии (он начнет готовить специалистов для всех формирующейся сферы социального управления России — Советов, общественных организаций, учреждений, занятых социальным и демографическим планированием). Второй уникальный факультет еще не имеет точного названия. Он будет обращен к проблемам истории и теории культуры.

И только в третью очередь нам предстоит ввести в структуру Университета экономический, юридический, филологический, возможно, педагогический факультеты. Впрочем, жизнь скорректирует наши планы.

В отдаленной перспективе — экология, может быть, медицина — все, что связано с человеком.

— Мы ведем разговор об универсализме, так сказать, информационном и методическом. Ну, а как обстоит дело с универсализмом

идейным? Ваши личные политические взгляды широко известны, естественно предположить, что в институте вас окружают преимущественно единомышленники. А будет ли допущен к чтению лекций в Российском гуманитарном университете ваш идеологический оппонент? Стремитесь ли вы к многообразию мнений, позиций среди преподавателей?

— Безусловно. Хотя практически добиться такого многообразия непросто. Некоторое время назад в нашем институте читал курс лекций В. В. Кожинов — один из лидеров нынешнего «почвенничества», человек, с которым я во многом не согласен и не раз полемизировал. Лекции были достаточно популярны среди части студентов, и то, что Кожинов сейчас у нас не работает, никак не зависело от меня, это было его собственное решение. Я хотел бы, чтобы в Университете были представлены самые различные научные школы, в том числе так называемые сегодняшние «славянофилы» и «западники». Думаю, что предел тут только один — ученые любых взглядов не должны выходить за рамки науки. Ведь нет ничего противоестественного, скажем, в том, что в Историко-архивном институте выступали с лекциями зарубежные историки разных ориентаций: с одной стороны, представители традиционных направлений западного обществоведения, например, специалист по социальной истории СССР М. Левин или продолжатель французской классической исторической школы медиевист Ж. Дюби. С другой — ученые, которых у них дома считают стоящими близко к марксизму,— С. Коэн, Р. Таккер.

И это прекрасно, что студентам предлагается не одна «обязательная» концепция, а много принципиально разных интерпретаций истории, ученики видят в профессоре не только личность, но и воплощение определенной школы. Другое дело, что не все наши преподаватели, придерживающиеся, выражаясь обобщенно, просталинских воззрений, способны избежать политизации науки, и порой, когда позиция делается слишком уж наступательной, студенческая масса их отвергает. Но, повторяю, дело тут не в моей личной предвзятости.

По-моему, универсализм — это универсальное знание, в смысле знания разных школ и подходов. Чтобы это реально осуществить, мы обязаны помочь студентам вобрать в себя достижения и российской дореволюционной культуры, и трудно пробившиеся ростки истинного знания советского периода, и обязательно классику западноевропейской и американской гуманитарной мысли. Вот почему мы разослали по университетам всего мира письма с просьбой помочь нам в комплектовании научной библиотеки. Мы надеемся собрать обширный фонд литературы по гуманитарным проблемам на русском и европейских языках. А пока это лишь проект, не будем забывать, сколь выгодно наше географическое положение: в пятнадцати минутах ходьбы от главного здания Университета — Горьковская библиотека МГУ, неподалеку Историческая библиотека и библиотека иностранной литературы...

— Если уж речь зашла о местонахождении РГГУ, хотелось бы заглянуть в будущее. Как, по-вашему, изменится район Китай-города в связи с возникновением в нем Университета? Честно говоря, само слово «университет» наводит на мысль о небольшом уютном городке со студенческими клубами и кафе, многочисленными книжными лавками, парками, где хорошо размышлять о высоких материях... А наша реальность — обнищавший, но не опустевший ГУМ, жалкая бутербродная, зато поблизости, на Лубянке, целый «городок» КГБ...

— Университетский кампус: сочетание учебных зданий, домов для преподавателей, общежитий для студентов, спортивных комплексов, библиотек — это структура, которая оформилась в Западной Европе еще в XIV веке и существует во многих странах по сей день. Смысл тут, безусловно, есть: это удобно, экономит время и силы, способствует общению тех, кого занимают общие научные вопросы, просто помогает сосредоточиться. Такой образ жизни, бесспорно, формирует личность.

Для нас все это существует, конечно, только в мечтах. Хотя Никольская улица, Чижевское подворье, которое тоже будет принадлежать РГГУ — древняя часть Москвы, чудом сохранившаяся, нельзя забывать, что сейчас здесь крайне тесно большому вузу, нет места ни для жилья, ни для спорта. Необходимая территория есть в Чертанове, где тоже размещены наши здания, но это ведь очень далеко от культурных московских центров. Будем надеяться, что рано или поздно появится возможность расширять Университет в Китай-городе. Для этого надо выселить из сердца Москвы бесчисленные серые конторы, а в идеале — переместить отсюда занимающие громадное пространство КГБ и Министерство обороны. Вместо них здесь могли бы возникнуть музеи, библиотеки, клубы, туристские центры. Но, как вы понимаете, такого рода изменения возможны только в том случае, если наша жизнь будет развиваться по пути цивилизованных реформ, в соответствии с нашей мечтой о достойном человеческом существовании. А пока надо быть реалистами... Мы вообще понимаем, что решение Российского правительства о преобразовании нашего института в Университет — лишь первый шаг к созданию современной модели образования. Предстоит еще решить множество хозяйственных вопросов, ведь при нынешней убогой системе финансирования ни один вуз просто не может полноценно работать.

— Не попытаетесь ли вы частично решить свои финансовые проблемы за счет платного обучения?

— Да, уже со следующего учебного года в Университете предполагается сочетать бесплатное и платное обучение. Деньги будут перечислять те, кто захочет освоить редкие, даже уникальные и особо дорогостоящие специальности, в частности слушатели Института российского предпринимательства.

— Мне кажется, многих сегодня напугает даже не платное обучение (большинство наших сограждан с радостью расстанется с рублями, на которые все равно ничего не купишь, чтобы потратить их на то, что не обесценивается,— на знание). Среди абитуриентов уже начинается паника в связи с изменением статуса вуза: не объявят ли новые условия приема, необыкновенно высокие требования?

— Требования у нас и в прошлом году были достаточно высоки. Средний конкурс, которого и этой весной можно ожидать,— 12 человек на место. Но программа для поступающих пока остается прежней. Если же в следующие годы будут сформулированы особые требования к поступающим на то или иное отделение, мы объявим об этом заранее.

— И последний вопрос, Юрий Николаевич, личного характера, если позволите. Будет ли ректор Университета читать какой-либо лекционный курс?

— Да, я очень надеюсь, что время крайней, невыносимой сверхполитизации жизни заканчивается, и каждый из тех, кто вовлечен сейчас в политический круговорот, сможет вернуться к своему основному делу. Я собираюсь читать курс «История французской исторической науки» или просто «История исторической науки» — по своей специальности.

— Что ж, разрешите пожелать вам и вашим студентам, чтобы это стало реальностью уже в следующем учебном году. И вообще удачи Российскому государственному университету.

Беседу вела
ЕВГЕНИЯ КАШТАНОВА

«...Я ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ НАЙТИ ПОТЕРЯННОЕ»

— так определил цель своего первого приезда в Москву писатель Саша Соколов.



— Эту женщину зовут Марлин, она моя жена,— Саша перехватил мой взгляд,— она хочет увидеть московский снег, она любит кататься на коньках, зима — ее любимое время года. Здесь, в России,— динамика, движение. В Америке этого ничего нет. В Америке нет настоящей зимы, а в Канаде нет хороших катков. Марлин — чемпионка Америки по гребле на свифе, ей нравится все, что связано со спортом, с зимой. Ее медалями завешана вся огромная стена нашей квартиры в Вермонте. Марлин считает, что это пустяки, она приучена в Америке думать, что это ничего не значит. Там не ценится не только настоящая литература — никому не нужны человеческие умения, за исключением тех, что приносят доходы. Барышников прекрасно танцует, и это приносит деньги. А если бы не было моды на балет? Например, Саша Соколов... Нет моды на литературу, и его нет в Америке... Он есть только в университетах.

Мы подняли бокалы, выпили за возвращение домой. Саша немного отпил. Закусывать было нечем, Саша прилетел неожиданно, и друзья его, пригласившие меня на встречу, попросили по пути купить хотя бы хлеба. Я знал, что магазины пусты, и мне было как-то неловко перед иностранцем. Между тем друзья Саши Соколова перед гостем не краснели. Малюсенькая комната за МПС у Красных ворот. Михаил Кудрявцев, ее хозяин, книжник, гумилевовед, жил скромно, и мне показалось, что Саше это даже как-то пришлось по душе. Все слетевшиеся в эту комнату пристроились кто где мог, даже на полу. Шел июнь 1989 года.

— Я нахожусь в стадии возвращения, хотя еще ничего окончательно не решил. Но потенциально я вернулся. Я жил в Канаде, в США, сейчас живу в Греции. У меня нигде ничего нет, мне нечего терять. Я интеллигент, хотя, быть может, и не достоин, но горжусь той частью своей интеллигентности, о которой вправе рассуждать.

Но, слава Богу, существует страна моего языка. Я не говорю, что я сильно влюблен в Россию. В прошлом мне было здесь нелегко. Бунин не говорил хорошо даже по-французски. Потому что боялся. Я тоже боялся. Тогда ведь не было перестройки.

Саша возбудился. Разогретый вниманием, вином и возможностью наконец-то выговориться, он с жаром отвечал на вопросы. Особенно если они касались Америки, Запада.

— Но ты приехал сюда не потому, что там нечего терять, а потому, что здесь есть что-то из того, что ты уже потерял?

— Это верно. Ничего особенного на Западе я не приобрел. Если не считать какое-то имя в узких литературных кругах.

— Можно считать, что ты не прижился в Штатах? Но ведь большинство приживается, Василий Аксенов, к примеру.

— Аксенов — это совсем другое. Он просто решил, что всем удовлетворен. Он человек огромной духовной силы, из тех, о ком говорят: «Они взглядом подковы гнут». Перенести то, что он перенес в Вашингтоне и вообще в эмиграции, такого никому не дано. Он пробивался че-

рез идиотизм и здесь, и там и воцарился, наконец, как представитель русской литературы. Он стал послом ее, во всяком случае играет эту роль.

— А Иосиф Бродский? Живи он здесь, ему бы и во сне не приснилось: лауреат Нобелевской премии.

— А что Бродский? Ты думаешь, у него в Америке крупное признание? Ничего подобного! Во всей Америке, я думаю, его знают тысяч двадцать. Читателей же у него, боюсь, и пяти тысяч не наберется.

— Откуда такая цифра?

— А это примерная цифра нью-йоркских элитарных изданий. Нобелевская премия не помогает человеку подняться. Это только кажется, что она создает имя. Причем я имею в виду и премии в области физики, медицины.

— Но Бродскому она дала место в университете.

— Место у него было и до премии. Премия почти ничего не решила в его судьбе. Даже гонораров за книги не прибавила.

— Я слышал, что на вечера поэтов из России приходит много слушателей. На Андрея Вознесенского, например.

— На Вознесенского сейчас много не соберешь. Бродский может собрать в Нью-Йорке человек триста. Поэзия в Америке принадлежит элите, а не народу. Точнее, она вообще никому не принадлежит. Тиражи поэтических книг упали до тысячи и менее экземпляров. Поэзией в основном интересуются студенты, они и собирают аудитории на творческих вечерах. Америка — страна вырождившейся культуры. Лишь на самых верхних этажах узкая культурная прослойка. Элита... Примерно один к тысяче.

— Ты, конечно, помнишь московские интеллектуальные кухни? Вино, папиросный смрад, стихи, чтение ночи напролет, споры до одурения.

— Ничего такого в Штатах нет. Даже близко. Все размеренно, дистиллировано... Кстати, у американских русских тоже потихоньку падает интерес к родному, засасывают местные проблемы. К тому же, как правило, туда приезжают практически одни и те же люди, тот же Вознесенский и компания... Советские газеты уверяют вас, что на людей из Москвы собираются полные залы публики, все сидят, раскрыв рты. Ничего подобного, никому это не нужно.

— Но у нас писали, что Алла Пугачева и Владимир Высоцкий собирали десять—двенадцать тысяч слушателей.

— Это музыка, песни. В те годы и Булат Окуджава собирал от трех до пяти тысяч, сейчас же гораздо меньше.

Такая деталь. Приехавшие сюда со своими библиотеками русские люди через несколько лет начинают понимать, что здесь совсем другая шкала ценностей, и они перестают читать по-русски, расстаются со своими книгами, раздаривают их, продают. Они американизируются. Некоторые приезжают как раз за тем, чтобы поскорее стать американцами, напрочь охладевая к родному языку, ко всему, что связывает их с Отечеством. «Россия позади, с ней все кончено»,— рассуждают они. И еще один штрих: катастрофически деградирует интеллигенция.

— То есть интеллигентность как способность мыслить?

— Мыслить начинают другими категориями.

— Борьба за выживание?

— Нет, здесь выживет любой человек, только ленивые умирают, совсем ленивые, борьбы за выживание нет, просто идет борьба за ступеньку к престижу. Причем престиж этот определяется только деньгами.

У меня вышло так: я приехал в Америку и ничего нового для себя там не открыл. Увидел именно то, что ожидал увидеть.

— Когда уезжал, тешил себя иллюзиями?

— Нет. Не понимал лишь одного: соотношения читательской массы и нечитательской. Я ее преувеличивал, а вскоре иллюзии развеялись.

— А Канада? Ты провел там часть своего детства...

— Да, Канада — самая близкая мне после России страна. Она тихая, спокойная, недаром ее зовут американской провинцией. В Торонто, в Монреале уютная, без опасности жизнь. Конечно, многие русские болеют там ностальгией, но вместе с тем не перестают ценить каждый день этой удобной красивой жизни.

— На чем же основано твое разочарование?

— У нас даже из ста человек найдешь одного, пусть это будет в тамбуре электрички, с которым ты можешь поговорить. Там же и из тысячи не сыщешь.

Я объехал всю Америку, познакомился со многими профессорами, читал лекции в университетах, жил среди простых американцев. Это человечные люди, воспитанные на принципиально добром отношении друг к другу, и к иностранцам в том числе. Они прекрасно тебя встречают, по-своему щедры, ежедневных экономических проблем для них не существует. Но бросается в глаза ограниченность кругозора... В стране огромное количество музеев, театров, концертных залов, всевозможных культурных ценностей, но люди их не используют. Общество воспитано на том, что за деньги можно все что угодно купить. И все покупается и продается: культура, талант, духовность. Два года назад в Бостоне организовали выставку русских художников девятнадцатого века. Впервые, наверное, за тыщу лет. Я специально пошел посмотреть, кто же придет на вернисаж. И был еще раз удивлен: Бостон — не Вашингтон, не Нью-Йорк, это душа Америки, и кто же пришел? Двое-трое русских эмигрантов. Залы пустовали, можно было аукаться. Теперь представь, что в Москву привезли американскую живопись... Что бы было? Советские люди, обиженные за Америку, мне говорят: «Сходи, Саша, в наши магазины». Но я-то не о магазинах говорю, я говорю о духовном уровне населения, точнее о его бездуховном уровне. В Америке интеллигенции нет... Такого явления, как русская интеллигенция, нет нигде в мире.

Вот мы вспомнили о московских вечеринках. Там их тоже много. Особенно это было распространено, когда я только приехал в Америку в семидесятые годы: много обедов, деньги рекой... Сейчас все свернулось. Так вот встречи, приемы, междусобойчики, партии, как их там называют,— это сборища, где целый вечер говорят о погоде... С ума можно сойти! Нет серьезного разговора о судьбе человека, нет попытки как-то осознать жизнь. Виртуозность бессмыслия.

Я, к сожалению, не был в Японии, стране колоссальной многоэтажной культуры, которую ничем не вытравишь. Америка не обладает такой культурой, у нее есть только двести лет какой-то жалкой демократии.

А школа? Она выпускает малограмотных людей. Учиться в такой школе даже забавно. По сути, она не дает никакого образования. Дошло до того, что во многих школах на уроках разрешено слушать радио, домашних заданий не существует, наизусть ничего не учится — ни стихов, ни прозы. Дети смотрят телевизор и заучивают тексты реклам.

Большинство американцев никуда не ездят. Это нам кажется, что они богаты и ездят по всему свету. Ничего подобного. Они не хотят ездить. Я помню, как однажды моя соседка, богатая женщина, сказала мне: «Мистер Соколов, мы слышали, что вы из России приехали. Наверное, это очень интересно, но, извините, мы даже не знаем, о чем спросить».

Эту страну идеологически можно взять голыми руками. Американцы совершенно ни для чего не приготовлены. Это люди низкого сообража-ния, у них отсутствует всякое любопытство о мире, и это страшная черта. Почему так вышло? Сошлись десятки эмиграций со всего мира, и культуры их взаимоуничтожились. Отдельные крохи разных культур, цивилизаций, принесенных в Америку, не создали нового феномена. Кроме одного — ненасытного стремления зарабатывать деньги. Надо отдать должное — работают американцы зверски: добротно, тщательно, чисто, красиво, улыбаясь работают. Они телеманы, они любят бегать, кататься на коньках, играть в теннис, в бейсбол. У них высокий бытовой стандарт жизни. Но все же их существование бездуховно. Бездуховно в нашем понимании.

Ты можешь мне возразить, что я говорю, будто какой-нибудь пропагандист из ЦК КПСС. Но это мой собственный опыт! Очень точно схватил Америку Владимир Набоков. Как изумительно верно показал он эту страну в «Лолите», через призму иронии, сарказма. Он издевался над Америкой, особенно в «Пнине». Он показал американцев какими-то чудовищами... Но боюсь, наши читатели не готовы этого понять.

— Саша, а не слишком ли ты сгустил краски? Неужели ты не открыл в американцах ничего хорошего?

— Чего у них нет, так это высокомерия, снобизма. И за это им многое можно простить. Я объездил все Штаты, всю Канаду. Да, в них много недостатков, их можно ругать, как я это сейчас делаю, но, знаешь, мне при этом их даже жалко: я их крою, а им и защищаться нечем, они ведь не знают, что я на них нападаю. Они вообще очень наивные люди.

...Они любят кумирствовать, обожествлять свою Америку. Мне кажется, что для них другого мира не существует.

— Трудно поверить в то, что американцы не знают о Сартре, Расселе, Хайдеггере.

— Никто не знает, кто такой Сартр. Уверен, что Рейган никогда о нем не слышал. Американцы выбрали его президентом только за то, что он был киноактером. Ведь киноактер в Америке — единственный уважаемый человек после банкира.

— А Буш?

— Буш — ограниченный человек. Он, конечно, знает свои дипломатические науки. Я несколько утрирую: возможно, что Рейган и Буш слышали о Сартре. Но в абсолютной своей массе Америка не знает Европы и не хочет знать, она открещивается от нее, она живет словно на необитаемом острове, делая вид, что именно американцы основная часть мира. Они совершенно изолированы и удивительно ограничены. Но в этом своем ограничении безумно счастливы, живут в какой-то аквариумной эйфории. Это счастье дикарей. Все, что я говорю, банальные вещи, но я уверен, что до меня никто этого громко не говорил. Василию Аксенову просто удобно живется, он занял определенное положение, он нашел свою нишу. Мне же все это противно. Как правило, писатель в Штатах последний человек. Если у него скромный доход, он просто ноль, его не существует.

— А Апдайк?

— На Апдайка работает отлаженная машина нью-йоркских издательств. Его постоянно печатают. Но даже он и ему подобные жалуются, что тиражи катастрофически падают, что они уже почти не могут заработать себе на жизнь. Пером зарабатывают на жизнь лишь единицы. Ну не считая, конечно, бросовую литературу, авторов бестселлеров, комиксов... Кстати, надо отдать должное Апдайку, в свое время он работал над словом, он был блестящим стилистом. А сейчас скатился в какую-то серость, явно хочет потрафить публике.

— Давай поговорим о судьбе русского человека в Америке. Сегодня некоторые возвращаются назад, кто на время, а кто и навсегда. Ирина Одоевцева, к примеру, вернулась навсегда.

— Думаю, что пока никто сюда не хочет ехать. Одоевцева приехала умирать... Я приехал сюда, потому что не был здесь четырнадцать лет. Мне страшно хотелось приехать в Россию.

— А как ты очутился на Западе?

— Это длинная история. Длинная, фантастическая и в чем-то романтическая. Я родился в Канаде, будучи «сыном советского диплома-та», как пишет Урнов в «Литературной газете». Провел в Канаде первые четыре года жизни. Вырос в благополучной семье, такой, что для меня ни вещи, ни деньги никогда не имели никакого значения. Мои родители... У меня не было представления, кем был мой отец на самом деле. И только недавно, не помню, в какой стране, подошел к книжной полке в магазине, открыл какой-то очередной том, а там о КГБ, Эс-Би-Ай, о шпионских организациях мира. Открыл индекс в конце книги. Оказывается, отец от имени Главного разведывательного управления Министерства обороны курировал всю Америку, оба континента по части шпионажа. Был заочно приговорен к смертной казни за похищение атомной бомбы. Шифровальщиком в посольстве был Игорь Гузенко, он убежал, предал всех. Посадили канадских коммунистов, это была знаменитая история, самое первое шпионское дело в Канаде. Думаю, что отец был своим человеком в КГБ и в Главном разведуправлении. В Канаде он организовал во время войны советскую шпионскую сеть. Он ужасный... Ладно, не будем об этом.

Безусловно, наша юность — не ранняя, но поздняя, литературная юность моего поколения — прошла под знаком Солженицына. Многие из нас его боготворили. Не будь его, все было бы по-другому. Мы не были бы, может быть, такими смелыми, не было бы того же СМОГа, не появилось бы многих других литературных кружков, чтений, салонов.

— Твоя эмиграция началась с Вены. Как это произошло?

— Мне не очень нравится эта тема. Это какая-то политическая история. Я постоянно каким-то образом влезаю в политику. В определенном аспекте моя жизнь представляет собой детективный роман, в котором я совершенно не хотел бы участвовать. Наверное, это в силу того, что я родился в семье знаменитого советского разведчика.

Случилось так, что я познакомился с австрийкой здесь, в Москве. Она преподавала немецкий в инязе по обмену. Из очень простой семьи, по образованию славистка. И началась наша эпопея неприятная потому, что я собирался просто жениться на ней, а мне не давали. Ее власти выгнали, сразу лишили контракта, выбросили из иняза. А меня плотно обложили, за мной ходили специальные люди. Говорят, даже Галича так не пасли. Видимо, здесь я кого-то очень сильно обидел.

— Может, потому, что ты был сыном генерала госбезопасности?

— Может быть. Да, мой отец был в то время генерал-лейтенантом. Уже, правда, в отставке, но это неважно. Он сам и инспирировал все это. Родители испугались. Я мог бы спокойно выехать без всякого шума, но пришлось делать шум. Мы заручились поддержкой каких-то австрийских и американских корреспондентов. Телевизионщики, радиожурналисты... События так развивались, что люди в конце концов обратили внимание, особенно на матримониальный момент. Мы боролись за своих невест параллельно с гроссмейстером Борисом Спасским, в одно время. И нас опекали одни и те же люди, те же самые корреспонденты ходили к нам, интересовались нашими историями.

Началось все с австрийского теле-

видения, кто-то там оказался борцом за гражданские права, кто-то из телевизионного начальства. Мы получили огромное паблисити. Опять какая-то совершенно опереточная ситуация... Было все и смешно, и грустно, и скандально.

В начале октября 1975 года между двумя и тремя часами ночи какие-то люди стучались во все квартиры, где я когда-либо провел хотя бы одну ночь. Я не жил последние дни и месяцы у себя, я метался, меня совершенно затравили, честно говоря... Но и я в долгу не остался — мотал их по всей Москве.

Интересная деталь: агенты ГБ боялись ездить на электричке дальше 20-го километра. Загадка! Они всегда исчезали из вагона. Может быть, они торопились домой смотреть телевизор? Может быть, чего-то боялись.

К лету 1976-го я был разобщен со своими друзьями. Фактически все порвали со мной, я был в совершенной изоляции. Оставалось лишь два-три человека, которые не боялись со мной встречаться. Родители отказались от меня официально, они написали какие-то бумаги.

Машину «скорой помощи» держали часто с раннего утра и до вечера. Когда я уходил за хлебом в магазин, эта машина двигалась за мной. Впору было сойти с ума. Но я выдержал. Была голодовка, начался шум в австрийской прессе, потом в немецкой, потом по всей Европе, по всему миру.

Однажды в пятницу эти ребята снова появились перед дверями квартир. Они сказали, что через два дня, в понедельник, надо быть в ОВИРе. «Передайте ему, что я его дядя,— говорил каждый из них,— я получил известие, что ему надо быть в ОВИРе».

Я приехал в ОВИР в понедельник в сопровождении американских корреспондентов, потому что я уже боялся ходить один. Начальник ОВИРа сказал, что надо забыть все, во всем виноват мой отец, а не Советская власть. «Что же ты к нам раньше не пришел, дорогой Саша?! Ты же никогда не приходил к нам». Я говорю: «Конечно, нет. А на каком основании я мог подать заявление о выезде?» — «На основании того закона, что браки с иностранцами разрешены. Закон же существует! Брежнев подписал тебе разрешение в виде исключения. Ты едешь, счастливого пути!»

Мы улыбались друг другу в лицо. Проговорили целых два часа.

Оказывается, канцлер Австрии Крайский написал Брежневу два письма по этому поводу. И тогда Брежнев подписал заявление на выезд. Сам...

— А почему президент Австрии так решительно вмешался в твою судьбу?

— Потому что возникли большие трения между австрийским и советским правительствами. Из-за того, что была голодовка, не разрешали жениться. Ее выгнали из СССР, меня не пускали в Австрию. Вся эта абсолютно бессмысленная деятельность отняла год жизни у нас.

В конце концов Крайский прослышал про наши беды. Написал Брежневу. И Брежнев внял. Только он лично мог разрешить выезд, поскольку не было согласия родителей. И меня в 24 часа нашли и выпустили в срочном пожарном порядке. Уехал я с одним чемоданом.

И вот десятиминутная аудиенция у Крайского в присутствии массы журналистов. Вспышки, телекамеры. Я стал какой-то фигурой дня из-за этой свадьбы. Все это было очень пышно, нас охраняли автоматчики на мотоциклах, все было запружено народом.

Крайский спросил меня: «Я слышал, вы пишете что-то? Но вы же понимаете, что Австрия — небольшая литературная держава. Видимо, что-то переведут из того, что вы будете писать. Но надо же что-то делать. Чем вы намерены заниматься?»

Крайский спросил меня на хорошем английском языке. Естественно, немецкого я не знал. Я ответил, что работал на Волге егерем, в лесу жил, и мог бы по тому же делу пойти.

Ты знаешь, Крайский нашел мне работу — в Венском лесу, в том самом, где «сказки Венского леса». Я валил старые деревья, чистил просеки. Тяжелая работа, едва хватало времени на то, чтобы писать письма. Работал с югославами. Они мне очень понравились. У меня тогда впервые возникла мысль переехать в Югославию, выучить сербохорватский и писать на нем.

Но однажды вечером в Вене постучал почтальон и принес телеграмму от Проффера — о том, что Набоков написал хороший отзыв о моей книге.

— Может, Набоков услышал о скандале и решил помочь?

— Может быть. И это была в литературном смысле самая счастливая моя ночь. Я, конечно, не спал. И через несколько месяцев, когда я письменно обрисовал Профферу свою ситуацию в Венском лесу, он вдруг появился у меня там, прилетел после конца сессии у себя в Мичигане. Привез мне контракт, приглашение и визу в Америку.

Я прилетел — и сразу же начались какие-то неприятности. Меня три часа держали на аэродроме. Началось выяснение личности. Никто ничего не объяснял. Я бессмысленно просидел три часа. В силу того, что я сын шпиона, и меня приняли за шпиона. В дальнейшем это сказывалось на моих отношениях с ФБР и соответствующей канадской организацией, которая называется «Королевская конная полиция». Вскрывали письма и даже не пытались делать из этого секрета. Навестили всех моих друзей, родственников моей жены.

И теперь у меня постоянно бывают проблемы на границе Канады и США. В каких-то я там черных списках. Два часа на границе сидишь, пока они там у себя проверяют, кто я, что я.

— Неужели ты не напечатал в России ни одного рассказа?

— Нет, работая в «Литературной России», я занимался только писанием статей и за себя и за других писателей, как это у нас принято. Проработав около двух лет, я понял, что больше так не могу, уволился из газеты, уехал на Волгу и устроился там егерем. И за два года написал «Школу для дураков». К тому времени мне было совершенно ясно, что в Советском Союзе мне не печататься. Правда, журнал «Жизнь слепых» объявил конкурс на лучший рассказ. И я написал про слепого капитана, который живет на берегу моря,— одинокий, заброшенный человек, беседует только со своей кошкой. Странный, наивный рассказ, но он получил первую премию. Рассказ, конечно, изуродовали. Этот опыт стал последней каплей в моей убежденности в том, что все кончено, что больше я здесь жить не смогу. Подстраиваться под что-то я совершенно не был готов. И тогда я решил: только на Запад...

В основу этого интервью положены беседы с писателем летом 1989 года. Саша прожил в Москве и под Москвой больше года. Съездил в Грецию, там вроде бы сгорел его домик, сгорели рукописи. Соколов дал несколько интервью нашим газетам и журналам, выступал по телевидению. Подготовил к печати несколько своих книг. По-видимому, написал новый роман или повесть. В последнее время он скрывался ото всех, порой его невозможно было найти.

А у меня в голове все время сверлило: «Уедет или не уедет?» Вроде бы так резко вспоминал о Западе, об Америке, крушил авторитеты. И вот узнаю: уехал. Куда? Не знают. Надолго? Может быть, его здесь что-то смутило? А может, поглядев на перестройку и нашу гласность, решил не искушать судьбу? Кто знает.

Ф. М.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЛОХ ЗАКОН — НО ОН ЗАКОН!

АЛЕКСАНДР ФОМЕНКО,
главный редактор газеты «Политика»

Одна из главных странностей нашего более чем странного времени — почти всеобщее (и часто бескорыстное) увлечение совершенно беспредметными спорами. Именно беспредметными, ибо нередко оснований для самых яростных дискуссий просто не существует в действительности.

Так, бессмысленны баталии между сторонниками «капитализма» и «социализма»: в «теоретически чистом» виде их не найти в мире днем с огнем.

Совершенно беспредметным кажется мие и противопоставление прав личности — «правам нации». Ведь необходимым условием существования права, совокупности неких норм поведения, является существование государства, эти нормы устанавливающего и поддерживающего. Так что имеет смысл говорить лишь о взаимоотношении прав личности с государственными интересами и установлениями.

Нынешняя вакханалия суверенитетов и приоритетов «коренных наций» (?) имеет свою родословную: К. Леоитьев когда еще писал о «национальной (племенной) политике как орудии всемирной революции», когда еще «классики марксизма» рассуждали о нациях «революционных» — то есть зараженных бациллами французской революции (вовсю применявшей «химическое оружие» национализма) — и «контрреволюционных» — до поры сохранявших иммунитет! Да и сам так называемый «интернационализм» — политическое суеверие коммунистов — возможен лишь при наличии этнических национализмов (шовинизмов), для замещения которых он предназначен.

Здравомыслящие и законопослушные люди — нормальные люди — еще не раз будут иметь случай убедиться в правоте австрийского канцлера Меттерниха, всеми силами боровшегося не только против расчленения Дунайской монархии Габсбургов, но и за сохранение Европой (ее законными правителями) стойкости перед лицом постоянного натиска врагов легитимизма и всякого вообще правопорядка.

«Крушение империй лишь увеличивает количество зла в мире» — эта грустная сентенция принадлежит нашему современному прозаику Михаилу Попову. Он имел в виду то, что на протяжении веков происходило в Европе после падения Римской империи, Австро-Венгерской (Дунайской) империи, наконец, Российской империи. Везде относительно благоустроенное существование разных народов заканчивалось с возникновением на обломках былого величия — революционных правительств. С последующей всеобщей (мировой) войной — всех против всех. А в итоге — современная Венгрия не уверена в законности своих границ с Румынией и Югославией, Германия — с Чехословакией и Польшей, а все восточноевропейские страны вместе — с Россией (СССР).



О чересполосице границ в СССР — не говорю, лишь самоубийца может грезить о «безболезненной дезинтеграции» все еще великой Державы. Можно себе представить, что будет с государством, если — не дай Бог — начнется в стране этническая мясорубка! Особенно если учесть, что сегодня лишь так называемый русский — не великорусский, не малороссийский, не белорусский, не татарский — национализм (правый консерватизм) основывается на ценностях общегосударственных, державных, а не чисто этнических, провинциальных. Российское соборное сознание предполагает наличие у каждого человека «лица необщего выраженья» при условии равнодостоинства и равноответственности всех нас перед Богом. Оно предполагает, следовательно, возможность высказаться — для всех: прямо или через своих представителей. Сепаратистское же, обособляющее и обособляющееся сознание — изначально заражено ядом партийности.

Не случайно все советские сепаратисты — сполна использовав «демократические» трибуны — неуклонно стремятся к жесткому подавлению всяческого инакомыслия. Это мы видим уже в Молдове, Грузии, Прибалтике.

Скоро, возможно, бытующие в современной Австрии и даже Венгрии ностальгические настроения по отношению к когда-то (и с восторгом) разрушенной Дунайской империи — аукнутся и у нас. Ведь у нас тоже была великая Империя.

Нам есть о чем пожалеть: разнообразные территории Российской империи жили в соответствии со своими сложившимися традициями — в единой и неделимой стране. В Великом княжестве Финляндском имелись сейм и конституция (находясь под шведским правлением, до принятия их в русское подданство, финны, конечно, и мечтать не могли об этом), а в Бухарском эмирате — абсолютный монарх. Но корабль «Эмир Бухарский» входил в состав Императорского флота, а одной из баз этого флота был Гельсингфорс (Хельсинки).

Убежден: мы станем жить как люди — не думая о сути тех или иных прав, но пользуясь ими — только после того, как от разговоров о «построении правового государства» и «восстановлении законности и порядка» перейдем наконец к делу. К восстановлению на территории нынешнего СССР последней по времени действительно законной и действительно правовой государственности — дофевральской думской монархии. Только после этого можно будет думать о дальнейшем государственном строительстве в законных формах.

Это не значит, что Съезд народных депутатов немедленно должен объявить себя Государственной Думой и Земским Собором — в одном лице — и, не долго думая, избрать монарха. Нынешняя власть просто должна признать свои обязательства перед традиционной российской государственностью и поставить своей целью возвращение к жизни этой государственности. И, разумеется, вне зависимости ни от чего рядовые граждане должны соблюдать нынешние хотя бы законы — законы СССР. Ибо установление основ нормальной жизни — а следовательно, и разумного соотношения интересов личности и нации — возможно лишь при соблюдении законов государства. Вне зависимости от мнения личностей и наций об этих законах. Dura Lex — sed Lex (Плох закон — но он закон), говорили древние. Любые попытки исключить из поля зрения исторически сложившуюся государственность приводят только к «ревтрибуналам» и «судам Линча» разного рода.

В разработке темы средневековой Руси советская наука ориентировалась на определенную обойму имен, угодных не столько историкам, сколько политикам: Владимира Киевского, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского. При этом доминировал строжайший отбор фактов, а историческое лицо превращалось в идеологический жупел, становясь иллюстрацией того или иного периода борьбы.

Вспомним хотя бы наши прямолинейные представления о победе Александра Невского над «псами-рыцарями» в 1242 году. В солидных трудах безапелляционно заявлялось, что «разгром немецких рыцарей ликвидировал нависшую над русским народом опасность разделить судьбу порабощенных немецкими феодалами прибалтийских племен», тогда как на самом деле жесточайшая борьба с Ливонским орденом продолжалась вплоть до Ливонской войны 1558—1583 годов, когда орден был окончательно разгромлен.

Из нашего внимания выпал целый круг проблем, честное решение которых помогло бы вернее ориентироваться в запутанных вопросах современности. Например, в проблемах национальных отношений. В бесконечной череде кровавых войн, сотрясавших средневековую Русь, войны междоусобные ничем не отличались от межнациональных. Какой-нибудь Олег Гориславич, князь черниговский и тмутараканский, проходил по муромской или ростовской земле с не меньшими жестокостью и бесчинствами, с какими половцы «воевали» русские княжества, а позже — литовские старшины или польские жупаны. Войны, как, впрочем, и мирное сосуществование, были начисто лишены какой-либо национальной предубежденности. И часто «любезными братьями», а еще чаще, к сожалению, «лютыми ненавистниками» по отношению друг к другу в равной степени оказывались русский с русским, литовец с литовцем, но и русский с литовцем, пруссом или шведом.

При всех «средневековых» мраке и невежестве, примитивности нравов и обычаев, ни литовцы, ни эсты, ни пруссы, ни русские, жившие шестьсот или восемьсот лет назад, «не доросли» все же до того, чтобы различать врага по национальному признаку.

Безусловно, злоумышленное нашествие чужого племени считалось большим несчастьем и носители его должны были понести соответствующую кару. Но не потому, что были косоглазы и говорили на непонятном языке, а за то, что нарушили покой, позарились на нажитое, убивали невинных.

В статье Париса Седова речь пойдет о малоизвестном, «второстепенном» князе Довмонте и о его непростом нравственном выборе.

ПАРИС СЕДОВ

«Се бысть князь...»

Довмонт — выложено славянской полувязью в низу горельефа на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. Скульптор М. Микешин отвел ему место в ряду многих славных сынов Отечества. В лаконичных летописях и простодушных подчас легендах его имя и титул означены полнее: добрый господин, благоверный князь Довмонт, нареченный в крещении Тимофеем, обретший «стол» во Пскове.

Посегодня еще сохранились во Пскове остатки Довмонтова города. Здесь, в отличие от крома (кремля), где клокотало некогда беспокойное вече, хлопотливо текла повседневность. В тесноватых двориках держали коров и коз. На двух непрямых улочках с утра до вечера шел горластый торг, звенели наковальни, дымили горны... Любили здешние обыватели побаловаться баньками и хмельным. В праздники устраивали игрища и хороводы, не в помеху, однако, строгому соблюдению церковного чина: с благоговением отстаивали службы, вдохновенно участвовали в крестных ходах, послушно внимали проповедям.

Жизнь, известная нам больше по былинам и песням, уступила место куда более заметным событиям — вражеским нашествиям и долгим осадам, возвеличиванию и падению князей, пожарам и засухам. И все-таки дыхание древности ощутимо. Оно — в робких, проступивших благодаря археологам очертаниях улиц и переулков, в незатейливости кладки храмов, в самих, кажется, камнях, хранящих на себе следы стараний древних мастеров.

О далеком XIII веке, о благородстве мыслей и поступков князя Довмонта мы знаем немного.

Летописцы непременно подчеркивали, что почитаем и любим он был «не сана ради велика, но благонравия». Никогда не позволял он себе позавидовать или повредить чему-нибудь. Был князь «в миру приветлив, попы и нищая и чернецы кормля и милостыню дая сиротам и вдовицам» и неустанно возводил «многия церквы и домы».

Причисленный к лику местночтимых святых, удостоен князь и еще одной чести. До нас дошла «Повесть о Довмонте». Из нее мы узнаем, что Довмонт заботился о псковитянах так же, как пекся и о независимости подвластного ему города — «Верха живоначальной Троицы». Отправляясь в очередной поход против посягавших на Псков врагов, он непременно «повергал меч свой пред алтарем» и просил Господа «призреть кротких людей своих», изложить им «гордые высокие помыслы».

И вот тут-то пристрастному читателю весьма странным может показаться одно обстоятельство. Совершая походы против соседей, не гнушаясь забирать в полон мирных жителей, захватывая иногда «многую корысть», шедшую, правда, затем на постройку домов и церквей, Довмонт нередко действовал против... собственного отечества, потому что, как сказано в летописях, был по национальности «литвином».

Недоумение читателя возрастет, если, обратившись к «Истории государства Российского» Н. Карамзина, он обнаружит такие вот утверждения: *«Довмонт выехал из отечества и, к удовольствию псковитян, приняв у них веру Христианскую, снискал столь великую доверенность между ими, что они... объявили его своим князем, и дали ему войско для опустошения Литвы. Довмонт оправдал сию доверенность подвигами мужества и НЕНАВИСТЬЮ (выделено мной.— П. С.) к соотечественникам...»*

Несколько смягчает это прямое утверждение историка в своей «Истории России с древнейших времен» С. Соловьев, делая акцент не на ненависти Довмонта к соплеменникам, а на «ревности» (т. е. горячем усердии) князя к новому отечеству. *«Здесь в первый раз,*— пишет историк,— *видим то явление, что русский город призывает к себе в князья литвина вместо Рюриковича, явление любопытное, потому что оно объясняет нам тогдашние понятия и отношения...»*

Что же это за понятия и отношения?

Литвина, волею судеб оказавшегося на псковском «столе», считали последним «вельможным» князем литовским, принадлежавшим к роду Миндовга — основателя Литовского государства. В летописях есть несколько версий о родственных отношениях этих князей. По одной, Довмонт был сыном Миндовга, по другой — свояком. Весьма спорной, если не сказать больше, остается до сих пор личность этого владыки. С одной стороны, умелый политик, сумевший объединить разрозненные многочисленные роды, авторитетный полководец, имевший за плечами ряд блистательных побед над врагами. С другой — жестокий, хитрый властелин, не разбиравшийся в средствах для достижения собственных целей, умело игравший на далеких от благородства чувствах своих вассалов.

Собственно, одно не исключало другого. Родовой, как говорил Соловьев, быт «условливал» уже самим укладом отношений вражду. Между родами шли непрерывные побоища. Верх одерживали в большинстве случаев не мудрые, добрые или милосердные, а сильные. И власть их держалась отнюдь не на тихом согласии или компромиссном решении. Культ грубой силы зачаровывал всех. Недаром же одним из первых в сонме литовских божеств был громовержец Перканус, обеспечивший безраздельную свою власть истязаниями, метанием молний, раскалыванием деревьев, сбрасыванием с небес неугодных.

В такой вот обстановке и жил Довмонт до своего бегства во Псков. Как вассал, он, по всей видимости, устраивал Миндовга, который до поры до времени не обнаруживал в подчиненном каких-либо не угодных для себя действий и помыслов. В свою очередь и Миндовг устраивал Довмонта, во всяком случае, о каких-либо явных конфликтах между князьями нам ничего не известно.

В 1262 году (именно тогда Миндовг заключил с Александром Невским кратковременный союз против Ливонского ордена) у всесильного литовского властелина умирает жена. Опечаленный, он посылает сказать свояченице, жене Довмонта, чтобы та приехала «плакаться по ней». Когда свояченица приехала, Миндовг вдруг сообщил, что, дескать, сестра ее «велела» ему жениться на ней, чтоб другая «детей бы ее не мучила». То ли из жалости к сиротам, то ли благодаря простоте тогдашних нравов княгиня исполняет желание могучего свояка.

Скованный воинским долгом и железной субординацией, Довмонт воспринял поступок Миндовга как будто безропотно. Через год он в составе ополчения отправляется по указанию владыки походом в Брянск, но на пути к цели вдруг объявляет соратникам, что продолжать поход не может, поскольку волхвы предсказывают ему дурное, и возвращается домой. Ворвавшись с дружиной к Миндовгу, он убивает его и, забрав с собой весь свой род, около трехсот семейств, исчезает в непроходимых лесах и болотах. Три года о нем ничего не было известно. Лишь в 1266 году он появляется во Пскове, где горожане «посадиша» его на престол.

Мотив оскорбленного супружеского достоинства — не единственный в летописях и в разных редакциях «Повести о Довмонте». Но самой, пожалуй, веской причиной, заставившей князя «прибежать» во Псков, выставляется принятие им христианства. Не раз, видимо, бывая в этом городе раньше, Довмонт в конце концов «возненавидя идолскую лесть, восхоте и ко Христу крещением присвоитися». Хотение это пришло не сразу: князь долго колебался, «яко трость ветром». Поначалу сурового воина смущало поклонение не грозным, неукротимым и жестоким божествам, а доброму, человеколюбивому проповеднику из Назарета. Колебания развеял, как говорят летописцы, сам Бог, который «восхоте избрати собе люди новы, вдохнув в них благодать святого Духа». И Довмонт принимает крещение и становится псковским князем. Чем же руководствовались псковитяне, оказывая «литвину» необычайно высокую «доверенность»?

Вообще «призвание на княжение» иноземцев или инородцев стало на Руси еще со времен Рюрика явлением обычным. Объяснялось это тем, что у русичей были слишком сильны пережитки родового строя, со-

провождавшиеся бесконечными распрями. Попытки внести хотя бы относительный порядок в этот кромешный сумбур (скажем, Уставы Владимира Мономаха или Правда Ярослава Мудрого) ощутимого воздействия не оказывали. Представители княжеских родов, ставившие себя выше всяческих законов, ожесточенно боролись (а точнее — дрались) за власть, попирая не совсем еще устоявшиеся нормы общежития. В этой связи, к примеру, «Начальная русская летопись» — источник сведений о древнерусской истории — полным-полна трагедий. Здесь и юные князья Борис и Глеб, умерщвленные их братом Святополком Окаянным, и Василько Теребовольский, коварно ослепленный Давыдом Игоревичем... Здесь и «черный список» владык, оставшихся в памяти народной символами бессовестного предательства: Олега Святославича, получившего прозвище Гориславича, Всеволода Ярославича, Святополка Изяславича...

Желанных мира и согласия на Руси не было главным образом потому, что, как отмечал автор «Слова о полку Игореве», «говорил брат брату: «Это мое, и то мое же». И начали князья... сами на себя крамолу ковать». Не стало у них правды и крепкой власти. Тогда-то и вынуждены были русичи «искать правительство,.. посредника в спорах.., одним словом, *третьего судью,* а таким мог быть только князь из чужого рода». Призвав на княжение Довмонта, псковитяне так и поступили.

Невольно возникает вопрос: почему они предпочли «цивилизованному» варягу (приглашение правителей со Скандинавского полуострова стало к XIII столетию традицией) полудикого «варвара» из Литвы?

Ответ надо искать в сложившихся к тому времени русско-литовских отношениях. Веками не утихавшая вражда способствовала, как ни странно, ассимиляции. Как некогда поверженная Греция полонила своего поработителя — Рим, государственное устройство, экономика и культура которого вырастали на эллинской основе, так и какой-нибудь безвестный русский городишко, захваченный воинственными литовцами, оказывал на них благотворное влияние. Литовцы женились на русских женщинах, охотно принимали православие и все чаще «меняли меч на орало» — занимались засечным земледелием, скотоводством, бортничеством, рыбной ловлей. В свою очередь русские заимствовали у литовцев некоторые обычаи и традиции, одежду, удобную для сурового климата.

Образованное Миндовгом Литовское государство унаследовало русскую культуру, письменность, судебную практику. Со временем, уже в XIV веке, Великое княжество Литовское выдвигало программу восстановления былой целостности Руси, боролось с Золотой Ордой. Поэтому неудивительно, что на микешинском памятнике в Новгороде вместе с русскими князьями запечатлены и литовские — Гедимин, Ольгерд, Витовт. В Пскове, в отличие от Новгорода, права князя были строго ограничены. Ни высшей, ни судебной властью он не обладал, гражданские отношения не определял, управлением различного рода службами не руководил. Он даже не разделял власти с вечем, а был наемным вождем боевой дружины, обязанным защищать страну, за что «получал определенный корм». Довмонт для такой должности подходил, что называется, по всем статьям. Бежав с тремястами семейств и дружиной из Литвы, он не притязал на неограниченную власть в городе, предоставившем ему кров и пищу. Он просто стал добросовестным наемником, без амбиций, строго и честно исполнявшим свой воинский долг.

Однако не место красит человека. Очень скоро Довмонт заслужил среди псковитян непререкаемый авторитет. И не только потому, что в первые же дни княжения, разбив Герденя, доставил в город «многую корысть»; не только потому, что на протяжении долгих лет успешно защищал Псков от ливонских рыцарей, но и потому еще, что привлек сердца и души горожан человечным характером.

В официальной историографии как-то не принято всерьез обращать внимание на личностные, лирические, если угодно, моменты в обрисовке государственного деятеля. Тем более если речь идет о малоизвестных лицах. Ограничиваются, как правило, лаконичной формулировкой — «вени, види, вици!» Между тем даже незначительная деталь, раскрывающая внутренний мир человека, может сказать много больше, нежели многострочные описания его ратных и прочих дел.

Сказано, например, о Довмонте, что «на мнозех бранях мужество свое показав и добрый нрав». Сочетание этих качеств не позволило Довмонту после убийства Миндовга уйти в леса и болота, не взяв с собой сотен женщин, детей, стариков, на головы которых могла бы обрушиться суровая кара. Не мог он после набега на врага, следуя во Псков, подвергать опасности весь город. Отправив большую часть войска домой, он с девяноста воинами встретил на Двине семьсот хорошо вооруженных противников и разбил их. Примечательны его слова, с которыми он обратился перед битвой к соратникам: «Братья и мужи псковичи! Кто стар, тот отец, а кто молод, тот брат! Слышал я о мужестве вашем во всех сторонах; теперь перед нами, братья, живот и смерть: братья мужи псковичи! Потянем за святую Троицу и свое отечество!»

В 1268 году дружина Довмонта в числе других участвовала в походе на Раковор (нынешний Раквере в Эстонии), принадлежавший датчанам. С налету город взять не удалось, пришлось отойти, чтобы «предпринять поход поважнее». Уверенность русских в победе подкреплялась тем, что накануне ливонские рыцари поклялись им «в вечной дружбе». Каково же было изумление новгородцев и псковитян, когда в семи верстах от Раковора, на реке Кеголе, они обнаружили свежие немецкие полки. Вероломство рыцарей придало силы русским. «Ни отцы, ни деды наши,— говорил летописец,— не видали такой жестокой сечи». И все-таки ценой огромных потерь удалось отогнать немцев к Раковору. Победа была нерадостной, и решили уходить на свои земли. Заупрямился один Довмонт, не желал оставлять рыцарей безнаказанными. «Прошед горы непроходимые», он ринулся на Ливонию, вышел к Балтийскому морю и вернулся домой с «многим полоном». Характерно, что как истый воин он поступал с пленными милосердно — не допускал издевательств над ними, не продавал в рабство в Золотую Орду, а, как правило, по окончании войны отпускал с миром.

Последний подвиг престарелый Довмонт совершил в 1299 году, когда немцы внезапно напали на Псковский посад (тот самый Довмонтов город, очертания которого сохранились до сих пор). Пуще всего Довмонт жалел женщин и детей, оставшихся за стенами крома. Вместе с посадником Иваном Дорогомиловым он сумел собрать войско и обрушиться на противника возле церкви святых Петра и Павла на самом берегу реки Великой. «И бысть сеча зла,— говорится в «Повести о Довмонте»,— яко николи же такова подо Псковом не бывала». Побоище было великое: иных немцев кончали на месте, иных сбрасывали в реку, многие из них, побросав оружие, бежали с поля боя.

Каждый ратный подвиг князя сопровождается в летописях где кратким, где более полным замечанием о его душевном состоянии: он скорбит и радуется, тревожится и успокаивается, страдает и умиротворяется. Перед нами живой человек, оставивший о себе благодарную память в народе. Умирая, он завещал псковитянам «единомыслие и любовь друг к другу имети и всякими благими делами украшатися».

Добрый господин, благоверный князь Довмонт. Немолодой уже человек, в обычном, не воинском наряде. В его усталой позе нет ни богатырской упоенности, ни гордой величавости, а только смирение и доброта. Бронзовый, он, кажется, задумался о прошлом. А может, и о будущем, когда благородные его порывы найдут, наконец, отклик в наших сердцах.

Вацлав Гавел родился в Праге 5 октября 1936 года. Окончил Пражскую Академию изящных искусств. Эссеист, драматург, один из основателей движения «Хартия-77». За политическую деятельность в 1970—1989 гг. несколько раз приговаривался к тюремному заключению. С 1989 г.— президент Чехословакии.

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ

ВСТРЕЧА С ГОРБАЧЕВЫМ

Визит царя-реформатора в губернию, где власть держалась усилиями его предшественников-антиреформаторов, был событием (хотя еще и ожидаемым) столь пикантным, что в Праге собралось невиданное множество пишущей братии. Все приехали в срок, и единственный, кто откладывал прибытие, был царь-реформатор. Посему журналисты убивали время кто как мог, между прочим навещая и диссидентов. Вокруг меня крутились десятки их, и каждый спрашивал, что я думаю о новом царе, и мне было необыкновенно мучительно всякий раз повторять одни и те же фразы, тем более что даже мне они не казались оригинальными: едва откроешь рот, как тут же возникает ощущение, что я их откуда-то вычитал. Ничего удивительного: нынче в мире нет никого, о ком бы еще говорилось так много, и ясно, что почти всё, что я мог сказать о нем, уже наверняка было сказано.

Наконец, царь прибыл и я смог передохнуть: журналистам предложили более увлекательную программу, нежели выслушивать от меня все то, что они сами же некогда писали.

Я живу неподалеку от Пражского народного театра; уже полдесятого вечера, журналистов нет, так что иду с собакой на вечернюю прогулку. И что вижу: бесконечные вереницы припаркованных лимузинов, бесчисленные полицейские. Народный театр освещен. Сразу же вникаю в ситуацию: Горбачев на спектакле. Любопытство отнюдь не чуждо мне (я прирожденный зевака), и я устремляюсь к театру. Благодаря собаке, прокладывающей мне путь, пробираюсь в первый ряд. Стою, жду, спектакль должен закончиться с минуты на минуту. Наблюдаю и слушаю, о чем говорят поблизости. Это все случайные прохожие, никакой организованной публики, просто люди остановились поглазеть на Горбачева, такие же ротозеи, как и я, шлялись по погребкам, а тут видят: что-то затевается, ну и решили удовлетворить любопытство. Стоят, обмениваются саркастическими замечаниями, в основном по поводу тайной полиции, а той как будто и дела нет (видно, строго-настрого заказано вступать в конфликты, дабы не омрачить визита).

Наконец-то! Суетное оживление в рядах тайной полиции, вспыхивают автомобильные фары, заводятся моторы, из театра появляются избранные, и неожиданно возникает он сам! При нем Раиса — чета окружена сворой телохранителей.

В этот момент происходит первая для меня неожиданность: циничные и язвительные острословы, которые только что прохаживались насчет главного властителя и его стражи, внезапно, точно по мановению волшебной палочки, превращаются в восторженно, даже буйно беснующуюся толпу, напирают, рвутся вперед, чтобы просто махнуть ему рукою.

Разумеется, в этом не было ничего от «вечной дружбы с Советским Союзом». Было нечто более опасное: люди приветствовали того, кто, как они думали, принес им освобождение.

От этого мне стало грустно, мне пришло в голову, что народ ничему не научился; сколько раз уже связывал он свои надежды с какой-нибудь внешней силой, от ее имени обещая себе, что она без его участия разрешит его проблемы, сколько раз уже горько обманывался, сколько раз вынужден был признать, что никто не поможет ему, если прежде он сам не поможет себе,— и вот снова то же заблуждение! Снова та же иллюзия! Неужто они и впрямь думают, что Горбачев прибыл освобождать их от Гусака?! Между тем, царь-реформатор уже приближался к тому месту, где стоял я. Был он довольно приземист и плотен, эдакий симпатичный колобок (возможно, таким он выглядел лишь в соседстве со своими могучими телохранителями), производил впечатление несколько испуганного и беспомощного, улыбался, как мне казалось, искренне, кивал нам как-то заговорщически, всем вместе и каждому в отдельности.

И тут происходит вторая неожиданность: внезапно мне стало жаль его.

Представьте себе эту жизнь: вынужденность день за днем видеть малоприятные лица своих охранников, бесконечные заседания, совещания и выступления, необходимость общаться со множеством людей, помнить их всех и всех их различать, постоянно высказываться — остроумно и в то же время правильно, так, чтобы мир, жаждущий сенсаций, в дальнейшем не смог использовать сказанное для нападок, беспрерывно улыбаться, участвовать в представлениях наподобие сегодняшнего — вместо чего, думается, он лучше бы отдохнул,— вдобавок ко всему не иметь возможности выпить вечером после таких напряженных дней!

Но я быстро подавил жалость в себе. Я сказал: он получил то, что хотел. Вероятно, такая жизнь устраивает его, иначе он не ступил бы на эту дорожку. Я запрещал себе сочувствовать ему, я вызывал злость на самого себя: «Не уподобляйся этим глупцам с Запада, что тают как воск на солнце, едва какой-нибудь восточный деспот обольстит их улыбкой. Будь реалистом, придерживайся тех трезвых взглядов, которые ты три дня подряд излагал перед зарубежными журналистами».

Горбачев, человек, превозносивший в Праге худшего из правителей, каких имела эта земля в новейшей своей истории, был уже в двух шагах от меня, шел, помахивая рукой, дружески улыбаясь, и неожиданно почудилось, что и махал он и улыбался одному только мне.

И вот третья неожиданность: вдруг дошло, что моя учтивость расторопнее моих болезненных размышлений — в ответ на его приветствие я испуганно вскинул руку и также махнул ему.

Колобок вкатился в свой лимузин, и тут сразу же взял сто километров в час.

Толпа расходилась, люди снова отправились — и весьма спокойно — по своим погребкам, куда шли, прежде чем попали на этот аттракцион.

Я с собакой вернулся в дом и задумался сам о себе.

И наконец, четвертая неожиданность: я совершенно не раскаивался в своем пугливом ответном взмахе. Ведь поистине: что за причина не отвечать на приветствие царя-реформатора?

Это разные вещи: отвечать на приветствие — и обманываться, переложив на другого свою ответственность.

1987, июль

Перевел
И. Бехтерев

ДЕМОКРАТ, МОНАРХИСТ, ЛИБЕРАЛ...

Термин «неформалы» прочно занял место в политическом словаре. Хотя, согласимся, еще несколько лет назад многие из нас отнесли бы его скорее к завсегдатаям дискотеки, любителям брейка, хиппи, нежели к лидеру парламентской фракции.

Как это все начиналось, сегодня мало кто помнит. Уже поблекли впечатления от первых скандальных заявлений диссидентов, выпущенных Горбачевым из тюрем и лагерей в начале 1987 года. Что и говорить, действия знаменитых сегодня Григорьянца и Новодворской больше походили на выходки и склоку. Специалисты по конспирации (выступать приходилось немного перед иностранцами, а в основном — перед судьями, которые любезно предоставляли им последнее слово), они не имели опыта общения с широкой аудиторией соотечественников. Вот эти диссидентские группы спустя некоторое время и стали называть «неформальными». Впрочем, из «формальных» публикаций о неформалах постепенно стала исчезать ирония и насмешки. А в 88-м уже налицо были массовые попытки самоорганизации. Началось политическое «отрезвление» общества. Самыми инициативными центрами стали Москва, Ленинград, Иркутск, из республик — Украина и Казахстан.

Провинция внимательно следила за центральной прессой и поначалу просто копировала начинания столичных смельчаков. Бум неформального движения пришелся на 1989 год, когда появилось огромное количество различных клубов, обществ и групп, стремящихся к объединенным действиям. Как грибы стали появляться союзы, фронты, ассоциации и конфедерации, различные комитеты. Появились и свои «раскольники».

Окинем взором эту пеструю карту и попробуем поточнее прорисовать ее контуры. Совершенно очевидно: в России так и не появилось ни одной политической партии, которая собрала бы под свои знамена значительное число сторонников или даже просто сочувствующих. Серьезных претензий на власть, управление и парламентское представительство также не намечается, хотя лидеры некоторых партий и движений публично заявляют о своих притязаниях на политическое руководство. Сегодня эти партии нацелены на избирателя, на парламент. Ими руководят народные депутаты или лидеры, выдвинутые из неформальной среды. Партии имеют свою прессу, которая распространяется «Союзпечатью» наравне с официальными партийными изданиями и имеет своих подписчиков.

Еще одна особенность новых политических организаций — большинство из них стремится как можно меньше быть похожими на КПСС. В отличие от монолитной коммунистической партии неформалы постоянно дробятся, реорганизовываются, меняют названия и даже платформы, на которых стояли изначально. Многие из новорожденных партий спешат объявить о своей многочисленности (10, 50, 100 тысяч человек). Реально же большинство партий насчитывает всего несколько десятков членов или активных участников. Как правило, ядром партии является или координационный совет, состоящий из 5—15 человек, или оргкомитет, бывают отделения в крупных городах. В 1989 году в стране действовало около 1000 политических, культурных, экологических и прочих организаций. Заметными тиражами выходило около шестисот различных газет, журналов и бюллетеней. Весной 1990 года насчитывалось уже свыше двух тысяч организаций и около тысячи ста неформальных изданий. Вот перечень некоторых значительных и массовых общественных организаций России.

Демократическая партия России создана в мае 1990 г. Председатель Н. И. Травкин. Насчитывает несколько тысяч членов.

Демократическая партия создана в октябре 1990 г. Председатель Н. В. Проселкин. Насчитывает около тысячи членов.

Консервативная партия создана осенью 1990 г. Председатель Л. Г. Убожко. Насчитывает несколько десятков членов.

Московская объединенная организация Республиканской партии России — Социал-демократической партии России (РПР-СДПР) создана в 1991 г. Насчитывает более тысячи членов.

Российская демократическая партия создана в 1990 г. Председатель Е. Л. Бутов. Насчитывает несколько десятков членов.

Российское христианско-демократическое движение (РХДД) создано в апреле 1990 г. Председатель В. В. Аксючиц. Насчитывает около тысячи членов.

Оргкомитет по выборам православного президента создан в марте 1990 г. Председатель В. П. Голованов.

Христианско-демократический союз создан в 1988 г. Председатель А. И. Огородников. Насчитывает более пяти тысяч членов.

Партия Демократический союз создана в 1989 г. Председателя нет. Лидер партии В. И. Новодворская. Насчитывает около тысячи членов. Печатный орган московской парторганизации Демократический союз (ДС) — газета «Свободное слово». Выходит еженедельно максимальным тиражом 55 тыс. экземпляров. Есть информационное агентство ДСИНФОРМ.

Всесоюзное общество «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы». Председатель Б. М. Гунько. Насчитывает минимум сорок тысяч членов. Выпускает газету «Дубинушка» тиражом около 400 экземпляров.

Либерально-демократическая партия создана в 1989 г. Председатель А. К. Кривоносов. Насчитывает около 6—7 тысяч членов. Есть отделения в Казани, Перми, Самаре, Смоленске, Киеве и других городах. Выпускает газету «Речь» тиражом 100 тыс. экземпляров.

Социалистическая партия создана в 1990 г. Председатель Е. И. Гамаюнов. Насчитывает несколько десятков членов.

Союз народовластия (партия здравого смысла) создан в 1988 г. Председатель Г. Н. Гурули-Георгадзе. Насчитывает около десяти тысяч членов.

Есть и международные организации типа МОПЧ (Международное общество прав человека).

Из органов неформальной прессы можно отметить *«Московский листок»* — газету независимых журналистов (тираж до 100 тыс. экз.), *«Новую жизнь»* — независимый еженедельник (тираж около 30 тыс. экз.), *«Общину»* — журнал Конфедерации анархо-синдикалистов (тираж до 30 тыс. экз.), *«Континент Россия»* — независимое издание (тираж до 75 тыс. экз.), *«Протестант»* — газету евангельских христиан-баптистов (тираж до 100 тыс. экз.), *«Урлайт»* — молодежно-демократическое издание (тираж до 1000 экз.).

Среди множества неформальных организаций есть зарегистрированные официально, есть незарегистрированные, а также те, что не регистрируются принципиально. Как сложится их судьба? Как отзовется это на судьбе России?

АЛЕКСАНДР ТРУБИН

НАТАЛЬЯ СЕВЕРИН

ГЕРОИ ПРЕДРАССВЕТНОГО ЧАСА

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

У Леонида Выготского в статье о «Гамлете» есть прекрасное рассуждение о предрассветном часе. Ночь еще не отступила, а день не набрал достаточно сил для победы. В этот смутный промежуточный час силы добра и зла сталкиваются, все в мире кажется зыбким и шатким, похоже, ночь не кончится никогда.

Подобный час бывает и в жизни общества. Не он ли сейчас на дворе?

У этого часа свои герои и жертвы. Перестройка выдвинула на авансцену особый тип личности. Энергичные люди должны были стать проводниками новых идей — в экономике, политике, праве, искусстве. Прошло шесть лет. И вдруг оказалось, что «двигатели прогресса» не сумели осуществить ни один из декларируемых замыслов. Почему это произошло? «А был ли мальчик?» Была ли на самом деле новая Личность? Или мы стали свидетелями грандиозного маскарада, который сейчас бесславно заканчивается? Какую роль сыграли в спектакле демократы, народ, деловые люди?

Статья не претендует на глобальные обобщения и категорические оценки. Скорее, это — наблюдения, предположения журналиста, озабоченного судьбою отечественной демократии.

1. КОММЕРСАНТЫ

Как хорошо жилось несколько лет назад, когда никто еще не знал конечной даты перестройки, а доверчивые решили, что она — навсегда! В те золотые дни проходил в Доме политпросвещения ЦК КПСС первый съезд кооператоров Москвы. В зале, где обычно собирались секретари обкомов, знатные пропагандисты и другие поборники бессребреного социализма, обосновались свободные купцы, вольные торговцы, призванные накормить и одеть народ. Они прогнали со сцены навязанного им партаппаратом председателя и выбрали «крестного отца» кооперации — директора кафе «На Кропоткинской» Федорова. Они строили планы, произносили блестящие речи, голосовали голубыми мандатами.

Потом появилась радостная статистика.

Зарегистрировано 250 тысяч кооперативов. Действует — 193 тысячи. В них трудится 5 миллионов человек. Еще около 20 миллионов связывают с этим движением свои интересы. Из государственного сектора в кооперацию ушло 1,3 миллиона человек. Бóльшая часть кооперативов занята бытовым обслуживанием, производством товаров народного потребления. Каждый пятый кооператив — строительный!

И вот теперь встречаю на улице одного из лучших ораторов того съезда тридцатилетнего директора ресторана. На себя не похож, затравлен, твердит одно: «Жизнь загублена!».



ФОТО ВИКТОРА МАРУШЕНКО. Г. КИЕВ

— Раньше я был поваром, жарил цыплят табака, имел небольшой «навар». Теперь меня сделали настоящим вором. Хотя я не хотел воровать, я думал, все будет и правда цивилизованно. Но нас замучили поборами. Как раз те, кто после Указа Президента о саботаже собирается решать нашу судьбу — чиновники. Время от времени мой ресторан устраивал дармовые ужины для районной и городской номенклатуры. Иначе они нас дергали проверками. «Перестроечники» приезжали на черных «Волгах», ели, пили, вели «деловые разговоры», пользовались девочками. Как десять лет назад. А на меня смотрели, как на быдло... Все это происходило в центре Москвы, рядом с Кремлем. Пока наивные демократы проводили свои митинги и демонстрации. Ничего не изменилось! Почему мы, коммерсанты, пусть убогие, советские, поверили этому вероломному государству? Наверное, человеку свойственно верить в лучшую долю. Сейчас «правоохранители» без ордеров врываются в наши конторы, открывают сейфы. В этом году 400 тысяч заключенных выходят из тюрем. Так что есть вакансии. Нет, здесь жить нельзя!

Кооператор намерен купить за 30 тысяч визу в США. Он сидит на чемоданах. И многие другие тоже.

Характерный штрих: драматический поворот в судьбе кооперации не вызвал в народе сочувствия. Скорее, злорадство. И это не только потому, что советский человек приучен болезненно ненавидеть торжище и торговцев. Торговля и нас ненавидит все годы. Кооперация не стала необходимой. Она так и не одела нас и не накормила.

Кооперативы изменили в нашей жизни разве что... архитектуру. Страна богато усеяна будками, где торгуют пластмассовыми клипсами по 70 рублей. Мы оказались завалены тоннами ненужной и нелепой продукции, мы в руках самого страшного в мире «сервиса», уже перестроечного, безумно дорогого, нам подают шашлык из кошатины и пельмени с собачьим мясом. Кооперация создала свой вариант «параллельного производства», как до нее этого сделала государственная промышленность. В итоге почти ничего не покупается, но деньги есть.

Мы опять вернулись на круги своя. Идею «цивилизованной кооперации» помимо внешних причин загубили, мне кажется, и обстоятельства сугубо внутренние — сами исполнители. Два типа «новаторов» из очень старой упряжки.

...В Москве живо обсуждается история кооператива «Плюс». Его хозяин в дни обмена денег продал, как подозревают, большую партию сигарет «Винстон» по завышенной цене и сдал в банк 800 тысяч. Пачка сигарет вытянула на свет вереницу интересных людей. Вначале ее нашли у мертвого спекулянта. Потом в деле один за другим появились спекулянты живые. Традиционный расклад — интимный круг, в котором идет дружественная торговля. Иногда, правда, убивают. Но, в общем, живут ярко и широко.

Маргиналы сочетаются с кооператорами, как двойные звезды. В орбиту шальных денег открыто втянулась полуницая милиция. Вот она, сидит, стережет по найму магазины со «сговорными», как шутит покупатель, ценами. Появились новые перестроечные профессии. Вышибала, личный охранник. Специально тренированные атлеты бьются с рэкетирами, получают иногда за вечер до тысячи рублей. Даже ОМОН остался неравнодушен, организовав в Латвии кооператив «Витязь», стерегущий собственность КПЛ. Омоновцы же уличены и в том, что перевозили на бронемашине по просьбе кооператива «Мастер» сомнительных 8 миллионов.

Мне совершенно не хочется клеймить кооперативное движение. В него включилось много талантливых, смелых и порядочных людей. Но социальный заказ был другой. Не на талантливых, а на сговорчивых.

Как-то радио «Свобода» в экономическом обзоре попыталось проанализировать — были ли у нас в теневой экономике подпольные гении, которым не давали развернуться. Пришли к выводу, что не было. Вся система торговли развивала в коммерсанте лишь один талант — быстро украсть и надежно спрятать.

Поскольку перестройка, как теперь выяснилось, планировалась как короткое косметическое мероприятие, на роль новых бизнесменов был затребован исключительно этот контингент, возможно, поименно известный «знатокам». Фигуры, давно привыкшие зарабатывать на себя и на чиновника.

Им вовсе не надо было походить на «рыночную личность» с теми чертами, которые отмечают во всем мире психологи и социологи. На человека, который по внутренней потребности, а потому легко и без тени лакейства служит другому человеку. Наш «человек рынка» — это завскладом дефицитных товаров. А потому в холуях у него — все мы.

Все, кроме его вечного спутника, без которого он уже не может, с которым его связывают многолетние амбивалентные отношения — «законника». История второго нэпа — захватывающая игра этих двух категорий людей. Одни делают все, чтоб разбогатеть, другие, чтоб нажитое отнять. По сводкам Госкомстата видно, сколько капканов было расставлено на кооператоров. Это никак не способствовало их нравственному совершенствованию...

Четыре пятых кооперативов работают при предприятиях и организациях. Что это для нас значит? Что они беспардонно тянут с этих предприятий материал, оборудование, сманивают лучшие кадры. Да, так оно и есть. Но вот каждый пятый кооператив жалуется на жесточайшее вымогательство со стороны предприятия-гаранта. Под угрозой отобрать средства производства, помещения и т. д. кооперативы заставляют перечислять на счет предприятий-учредителей до 20 процентов дохода. За их же счет повышают зарплату трудящимся и администрации, которые не стали работать ни на копейку лучше.

Интересную роль в развитии кооперации сыграли банки. Ссуды давались на самые удивительные предприятия. Даже те, которые были явно одноразовыми. (Например, у нас выходило и выходит множество одноразовых газет.) В то же время кооперативы не могли и не могут свободно пользоваться заработанными деньгами. Помните, когда Тарасова клеймили за его миллион, он шутил: пусть меня грабят, мне банк все равно денег не дает, я миллионер сугубо теоретический. Понятно, почему кооператоры держали под рукой большие суммы наличными. Нетрудно понять, что закон об обмене денег был направлен именно на эти «тумбочки». Правда, оборотистые коммерсанты успели их разменять еще в ноябре...

Становится ясно, что кооперация, в том виде, в каком ее задумала КПСС,— очередная «священная корова», которую вышасли вначале, чтобы доить, «грабить награбленное», а теперь — принести в жертву. Есть серьезный политический резон в том, что именно сейчас, а не через год, начали потрошить эту «корову». Общественность подсчитывает партийную собственность, демократические силы требуют раздела имущества, неприязнь к КПСС достигла кульминации — из нее выходят семьями. Система мгновенно сориентировалась и бросила на растерзание кооперацию.

Отключимся от постылых теневиков, пусть себе едут в Америку. В обществе появился еще один, более яркий и малознакомый нам тип коммерсанта. Он создал совместные предприятия, фонды милосердия, Детский, коммерческие банки, ассоциации, концерны и другие «новые структуры». Этих коммерсантов можно смело назвать советскими «яппи». Они делают первые шаги на отечественной Уолл-стрит. Играют покрупному. Не опускаются до тапочек-мыльниц. Советские «яппи» пришли в бизнес из контор серьезных — министерств, внешторгов, высших эшелонов комсомольской, профсоюзной, партийной власти. Это — чиновники новой генерации, молодая бюрократия, которой надоело подпевать «социалистическим» принципам Лигачева и ездить на казенной машине, а захотелось мелькать на международных рынках в качестве непосредственных покупателей и кататься на собственной «тойоте».

Может быть, в отличие от доморощенных кооператоров они представляют собой ту самую личность «рыночной ориентации», о которой много лет назад писал социальный психолог Эрих Фромм: «На рынке личностей появляются все профессии, занятия, статусы. «Личностный фактор» важнее умения. Формула успеха включает такие компоненты, как «продавать себя», «ломать собственную личность», «быть здравомыслящим»... Важны также связи, участие в клубах и т. д.».

Одно условие подчеркивает Фромм, явно не симпатизирующий этой гуттаперчевой личности — «человеку для себя»,— он должен действовать в обществе с высоким уровнем научно-технического прогресса, высоким уровнем правовой культуры. Иначе может стать опасным...

Что же ожидало новоявленных «яппи» у нас?

Первобытный, меновой рынок. Гиганты сталинских пятилеток рушатся в буквальном смысле слова, стал хроническим недовыпуск недотоваров. О правовой культуре тоже трудно говорить спокойно...

С первых же дней «яппи», стремившиеся создавать СП, зарабатывать валюту, оказались в положении еще более ложном, чем кооператоры. Коммерция начинается, договоры заключаются, иностранцы едут, а закон о внешнеторговой деятельности не разработан, об иностранных капиталах тоже. Этот вид предпринимательства кое-как регулируется подзаконными актами (которых с 86-го года вышло около 30), личным вмешательством министров, замминистров, иных чинов. Тут, слава Богу, помогает прошлое в министерствах и политических ведомствах. Можно задействовать знакомых. Но чем торговать, если в стране почти ничего не производят, на чем делать капитал?

Все, кто занимается деятельностью СП, крупных ассоциаций, концернов, в один голос утверждают:

— Очень малая часть стремится производить и продавать на внутреннем рынке. Остальные занимаются посредничеством, спекулируют. За валюту продают все, что можно вывезти. Лес, металл, другое сырье. Продадут и мать родную. Руководители СП, бывая за границей, надежно обеспечивают себя дефицитом — от автомобиля (там он стоит — подержанный — долларов 100, здесь продается за 70 тысяч) до любой радио-, видеоаппаратуры. С остальными членами коллектива расплачиваются мелочовкой — косметикой, тряпками.

Я не склонна безоговорочно доверять замечаниям правоохранителей, у них задача — обличать, иногда даже с болезненным азартом. Тем не менее мне было интересно слушать работника Московской городской прокуратуры Т. Блинову, которая изучает деятельность СП в столице. Она рассказывала:

— Лишь один раз за все время работы с СП я видела цивилизованных советских предпринимателей, которые думали не о себе, а о покупателе. Они создали совместное с итальянцами предприятие на Тушинской шерстепрядильной фабрике. Цеха переоборудованы, изменены условия труда людей. СП производит прекрасную шерсть и продает ее в Союзе, его участники явно собираются работать долго, развернуться всерьез и выглядеть солидно. И перед соотечественниками, и перед иностранцами.

Не определено, какие властные структуры имеют право создавать при себе СП, ассоциации и им подобные организации, становиться их учредителями. Например, Московское ГУВД создало два посреднических предприятия для закупки машин за границей. У меня лично это не вызывает протеста. При убогой жизни нашей милиции — кто за нее постоит, если она сама не подсуетится. Но с другой стороны — момент этический. В таком случае, проще всего создать СП министру Пуго. Его некому проверить.

Впрочем, этический момент нарушается на каждом шагу. Беззастенчиво пользуются своими правами министерства, переименовывающиеся в ассоциации и концерны и норовящие подмять под себя бывшие владения по всей стране. Работники исполкомов (как правило, из «бывших») раздают лично районную, городскую собственность, пользуясь своим правом, организовывают себе место в альтернативной экономической структуре и бегут туда. Существует мнение, что этому не надо препятствовать. Пусть новые структуры создают люди с опытом. Они знают закон, у них есть организаторские таланты. Дальше само время покажет, способны они конкурировать или нет. Мне тоже кажется, что, несмотря на изрядный бандитизм, с которым создается все новое, выбора нет, больше, увы, просто некому этим заняться. И герои предрассветного часа приходят... Тип такой личности виден, скажем, из истории с межбанковским объединением «Менатеп», акции которого так охотно покупают граждане. Одного из зампредов «Менатепа» похитил кооператор и его друг-рецидивист. За возвращение на свое место в целости и сохранности от зампреда потребовали 120 тысяч. Предполагают, что похищенный расплатился не поджентльменски. Деньгами своего объединения. В общем, надежные люди...

Всякого, кто начинает изучать деятельность альтернативной экономики, сталкивается с людьми этой сферы, может охватить настоящая паника — снизу доверху маргиналы! И правда, «родину продают».

На съезде Демократической партии России один из создателей программы «500 дней» Григорий Явлинский успокаивал публику: это неверно, что из страны только вывозят. Несмотря на то, что никаких заметных результатов деятельности свободной экономики пока на поверхности не видно, она развивается, набирает силу и в конце концов непременно приведет к процветанию.

Есть и статистика, подтверждающая эту точку зрения. В прошлом году на фоне спада производства в государственном секторе производство продукции и оказание услуг в сфере свободного предпринимательства увеличилось в 1,5 раза. Это в итоге — 15 процентов валового национального продукта. Со свободным предпринимательством связывают свои интересы 42 миллиона людей. 80 процентов промышленных рабочих высказывают желание перейти в эту сферу, если придется уволиться с предприятия. (Исследования проводились еще до замораживания зарплаты в альтернативной экономике.) Известно также, что 3 процента арендаторов, которые пока так непрочно стоят на ногах, уже поставляют 24 процента овощей и фруктов.

Что же будет, если Президент не отменит свои указы, уничтожающие эти ростки новой экономики? Как поведут себя «яппи»? Снова станут послушными чиновниками, но с возросшим достатком? У них есть предрасположенность к этому. Работая в аппарате, они привыкли «ломать себя». Иначе и не были бы «яппи».

Но больше всего преуспели на рынке личностей бизнесмены, подвизающиеся в области духовного. Вот где настоящий маскарад, торги идеями, имиджами, даже собственными биографиями!

Имидж, как известно, помогает человеку жить, продвинуться по службе. Но нигде в мире им так открыто не торгуют.

Какой имидж до сих пор гарантировал советскому человеку продвижение наверх? Партийного работника.

Инициаторы перестройки ввели в оборот еще несколько ходовых ролей. Наиболее сообразительная часть публики немедленно воспользовалась этим. (И ей прекрасно заплатили. Креслами, портфелями, назначениями. Чего добились новые люди в своих новых креслах — уже видно. Но ведь и от них, собственно говоря, кроме имиджа, ничего не требовалось).

Не будем говорить об имидже национал-патриота, который сколачивает капитал на преследовании мифических жидомасонов. (Сейчас продается очередная разоблачительная книга одного из них — Ивана Шевцова. Но не за «народную» цену, а за «буржуазную», по 10 рублей за штуку. Так что купить ее смогут опять-таки только жидомасоны.) Не будем говорить о «чистых» политиках. Не менее интересны люди, делавшие гласность, искусство.

На одном из первых митингов Демократического союза на Пушкинской площади молодой комиссар взывал к группе перепуганных слушателей, которые еще не привыкли к тому, что может существовать другая, кроме КПСС, партия, и всё оглядывались по сторонам — когда будут брать?

— Сейчас все разоблачают Сталина! — кричал молодой человек.— И это хорошо. Но кто его разоблачает? Редактор «Московских новостей» Яковлев делает «гласность на экспорт», а раньше писал Лениниану! Виталий Коротич, когда жил на Украине, писал дифирамбы советскому режиму. Что же они — о двух головах? Не может человек, так глубоко погрязший в грехе партийности, стать другим! Коммунистическая школа еще скажется!

Публика, уважавшая «Новости» и «Огонек», робко сомневалась.

— Наверное, в его Лениниане был подтекст,— предположил бедно одетый интеллигент из провинции. Его с надеждой поддержали другие.

Ниспровергателей прошлого, Яковлева и Коротича, не хотели «выводить на чистую воду», как в этом ни помогали журналы вроде «Молодой гвардии». Они делали нужное дело — они просто заново печатали учебник истории. Сейчас по этим публикациям учителя в школах составляют программы.

Но вот начались странности. Рядом с жертвами ленинского и сталинского террора вдруг появились другие жалобщики. Быть «жертвой» стало товарно. Самые преуспевающие фигуры общества принялись лихорадочно рыться в своих биографиях, вспоминая тумаки и побои, полученные от Системы,— хоть самые маленькие, самые легонькие. Вдруг Сергей Михалков сообщил в одном из левых журналов всему миру, что, когда он сочинял текст Государственного гимна СССР и ходил сообщать об этом в Кремль, его в коридоре напугал Берия. В общем, поэт пострадал. Потом стало известно, что фильм М. Ромма «Ленин в Октябре» подвергался купюрам. Тоже несчастье. Оказалось, что после просмотра фильма «Место встречи изменить нельзя» Чурбанов пришел в бешенство, боевик был под угрозой. Однако бешенство почему-то не приняло запретительного характера, фильм спокойно вышел на экраны. Целые отряды «пострадавших» писателей, журналистов, деятелей искусства взахлеб повествовали изумленной публике, как корежили их романы и статьи.

Когда Тенгиз Абуладзе снимал без всякой надежды на успех свой фильм "Покаяние", он вряд ли думал, что эту идею можно опошлить. Смогли. Когда имидж «жертвы» приелся, начались покаяния. Я как-то включила программу «Слово» и увидела, как кается Владимир Познер. Оказывается, он когда-то был за введение войск в Чехословакию. «Слово» на полном серьезе и со слезой в телеголосе объявило, что намечается цикл покаяний. Желающие занимают очередь.

Конечно, лучше вовремя раскаяться, чем дождаться, пока тебя разоблачат, как это сделали на I съезде депутатов СССР с Г. Боровиком. И вообще — раскаяние на Руси всегда вызывало уважение, оно было уделом сильных духом. Но покаяние никогда не было товаром — это противоречит самому смыслу обряда. Тем более оно не было рекламой, поддерживающей угасающую популярность.

Когда раскаявшегося генерала Калугина выбрали народным депутатом, мрачная интеллигенция мрачно шутила: сейчас самое время покаяться Хвату — глядишь, и его выберут.

Но ярче всех на карнавале перестройки горела звезда «народных заступников». О том, что они за свои речи становились народными депутатами, я не говорю. В нашей косноязычной стране оратор — это находка. Одни такие выборы в парламент России мне самой пришлось наблюдать. Кандидат — теперь человек очень известный — тогда больше всего боялся промахнуться с Ельциным. Каждый день вычислял его рейтинг и перспективы: войдет или нет в российский парламент, станет ли Председателем? И каждый день кандидат решал к очередному выступлению перед избирателями — «вычеркнуть Ельцина, оставить Ельцина, вычеркнуть, оставить...».

Вернемся к искусству, к прессе.

В смутные годы, как положено, у нас появилось много пророков. Одним из них объявил себя одесский режиссер Станислав Говорухин. В одной своей статье он так и написал: «Ко мне приходят люди, говорят: хотим дело делать, ты только скажи, что именно делать нужно!».

Может быть, «Слава» и правда знает, что делать?

Несколько лет он бился «за народ» сразу на трех фронтах. Статьи в защиту золотоискателей были громкими, вызвали много шума, но принесли пользу только автору. Статьи о гибнущей Одессе тоже были интригующими. Но Одесса как стояла, так и стоит по колено в отравленном море, а автор уже в Москве. Одесситы, привыкшие, что на их бедах многие строили свою жизнь, добродушно посмеиваются: подумаешь — еще один.

Вот что удалось Станиславу Говорухину — так это битва за развлекательное, коммерческое кино. У него оказалось много соратников. Сценарий по нынешним временам стоит без малого 70 тысяч. Серьезные критики вначале протестовали. Но кто слышал «отдельные» умные голоса? На публику катил вал фильмов разного жанра, но одной генеалогии: «Дрянь», «Катала», «Бабник», «Мордашка», «Штаны», «Бля!».

Вокруг больших денег начались большие свары. За коммерческие «шедевры» дерутся госсектор и прокатчики-нувориши. Из-за права показа советского фильма «Ловкач и хипоза» частный прокат схлестнулся с «Мосфильмом». Пока шла драка за 4 миллиона, съемочная группа, сделавшая фильм, не получила ни копейки. Кстати, кто создает такие прокатные конторы? Наши знакомые, «яппи».

Конечно же, не Говорухин лично привел в кино стаю зловещих молодых людей, которые шлепают один за другим коммерческие фильмы, от которых оторопь берет..

Феномен Говорухина многие вообще не воспринимают всерьез. Напрасно. Славная его борьба за развлекаловку в наше страшное голодное время, в нашем страшном гулаговском обществе — это не проявление дурного вкуса. Это политическая конъюнктура. Сейчас у него новый последователь — президент радио и телевидения СССР Л. Кравченко. Сделать телевидение развлекательным, «для народа» — это и его заветная мечта.

Став автором публицистического фильма «Так жить нельзя», многообразный Говорухин пересекся с еще одним пророком нашего времени — Александром Невзоровым. Правда, имидж ленинградского телекомментатора создан более искусно и не без чужой, сильной помощи.

Жизнь Невзорова на экране — детектив, боевик, фильм ужасов. Он стал ключевой фигурой в дни «освобождения» ленинградского телевидения от диктата Москвы, он втащил в кадр опального депутата Иванова. Потом он искренне и доказательно клеймил коммунистов, завоевывая все новых и новых поклонников. Некоторые, правда, сразу же засомневались — а не фальшивка ли это? Писатель Кабаков поставил Невзорова в один ряд с Говорухиным и Гдляном. Но зрителям не хотелось разочаровываться в смелом журналисте, особенно после того, как в него стреляли.

Постепенно Невзоров начал меняться. Очень мягко, почти незаметно он взялся за демократических депутатов Ленсовета. Как раз в те дни, когда стало понятно, что партия собирается этих депутатов бросить на растерзание народа, не дав им никакой реальной власти.

Уже несколько лет ни за что ни про что гибнут наши солдаты. Об этом в голос кричали на всех сессиях народные депутаты от Карабаха, Армении, Азербайджана, России. Невзоров это заметил лишь тогда, когда начали стрелять в Литве.

«Кровавое воскресенье» в Литве стало для многих датой конца перестройки. Для Невзорова оно стало датой прощания с предыдущим имиджем. Зная, что последует дальше, журналист ринулся на защиту омоновцев.

Еще один, правда, более мелкий пример того, как меняют имидж,— судьба комментатора «Взгляда» Сергея Ломакина. Так же вдохновенно, как недавно еще вел он «Взгляд», ведет он теперь программу «Время».

В чем же особенность этих людей, затребованных перестройкой? Что общего у теневиков, «яппи», рыночной интеллигенции? Общий у них — генотип.

В начале 80-х годов писатели, критики, социологи пытались определить тип личности, который доминировал и больше всего преуспевал в застойном обществе. «Частичный человек», «подменный», «половинчатый», «промежуточный», «полуинтеллигент», «имитатор», «атомизированная личность».

Именно этот тип человека и стал главным исполнителем перестройки. Если вернуться к Фромму — это фигура с «авторитарной» ориентацией, которая может существовать только при лидере, как рыбка лоцман при акуле. Ей постоянно нужен Корлеоне. Только с таким «матерьялом» и можно было провести перестройку в том виде, в каком ее задумала КПСС: слегка расслабить вожжи, дать народу заработать, чтоб вышел из анабиоза, и, главное, спасти номенклатуру, которая, как выяснилось, у нас самая бедная в мире. Никто не собирался делиться с народом собственностью, никто не собирался вводить рынок по западному типу. Ведь и сам Президент, декларирующий новые идеи,— человек «частичный», личность, выросшая в среде партийных «винтиков», не привыкшая брать на себя ответственность, принимать полноценные решения.

Чтобы расположить к себе Запад, добиться инвестиций, нужно было хорошо имитировать перемены. Для этого и сгодилась пластичная, переимчивая, подражательная личность. И она справилась с этой ролью.

За шесть лет номенклатуре удалось поправить свое материальное положение, сколотить кой-какой капитал. Второй нэп, не принесший стране и десятой доли того, что принес первый, — не прикроется, как утверждают многие. В урезанном виде он обязательно будет существовать. Накопленные капиталы надо узаконить. Мы движемся к модели государства «Германия 30-х годов». Да, состоится приватизация, да, будет учреждена частная собственность. Но в очень скромных размерах. Аппарат не выпустит из рук землю, основные средства производства. А с ними и власть. Привилегии останутся у военно-промышленного комплекса. Во время же приватизации «по серьгам» получит именно рыночная личность, которая подыграла стратегам перестройки. Только у нее и есть теперь деньги на выкуп.

Возвращается на свое приоритетное место и социалистическая идеология. К ней все теснее лепится слово «национал». До последней капли крови будет идти борьба за империю. И тут погибнет еще не один русский солдат. Правда, Невзоров тогда промолчит...

А что же останется сотням миллионов граждан, которых перемены буквально резанули по живому — ценами, инфляцией, безработицей? Ведь граждане так долго верили, что перестройка затеяна именно для них. После сброшенного с корабля перестройки «балласта кооперации» сбросят, видно, и демократов, «народных вождей». Но пока они еще готовы вести за собой. Куда?

Об этом в следующей статье.



ФОТО ВАЛЕРИЯ СИНИЦИНА. Г. МОСКВА



НИКОЛАЙ МИНХ

О РОССИИ И РУССКИХ

Перед нами необычный документ. Написанный более 80 лет назад саратовским статским советником, он стоит как бы над временем. Не назови автор своим современником Аракчеева, мы бы всерьез засомневались в точности даты, которой помечена рукопись. Не станем, однако, поспешно причислять Николая Минха к пророкам: он размышлял только о своем времени. В том же, что статья нисколько не устарела, наша беда: с начала века так ничего и не изменилось. «Мы отстали почти на столетие»,— делал горький вывод автор.

О Николае Николаевиче Минхе известно немного. Родился в 1838 году в селе Елизаветино Липецкого уезда. Сын тамбовского помещика. По окончании Петербургского университета (юридический факультет) вернулся в Саратов, участвовал в редакционных комиссиях по освобождению крестьян. После смерти отца приобрел имение. Вскоре стал членом губернской управы. Был одним из инициаторов строительства Тамбово-Саратовского окружного суда, в 1890-м получил чин действительного статского советника. Потом, уже в возрасте семидесяти одного года, председательствовал в Саратовской ученой архивной комиссии. Семья Минхов (четыре брата и сестра) принесла России немалую пользу — все пятеро были страстными подвижниками, занимались благотворительностью. Результатом же этой деятельности оказался в конце концов... разгром. Участники крестьянской войны 1905 года не вспомнили о добрых делах своих попечителей, когда громили помещичьи усадьбы (в Саратовской губернии было уничтожено феноменальное количество «культурных гнезд»).

Рукопись Н. Минха была обнаружена в фонде Саратовской ученой комиссии (ф. 407, д. 796). К сожалению, это все, что осталось после смерти автора.

Фотографии Александра ТРОФИМОВА.

г. Новокузнецк

«ОНА»

Власть наша довела великий народ до полного растления. Какое-то проклятие лежит на нашем времени: нам нужна власть гениальная, а у нас сплошь бездарность и маниловщина: вместо серьезного дела — ханжество и молебны. Иконы и колокольный звон — вот символы власти, которыми держится власть на 80% столетиями.

Все сознательное у нас презирает власть. Несмотря на наличие хороших советников, власть следует внушениям Торквемады и Аракчеева.

Все протесты против нашего строя считаются почему-то непатриотичными. Но для русских людей революция была протестом против маньчжурских унижений. Как шведов мы обязаны были бла-







годарить за учительство в военном деле, так японцев мы должны благодарить за пробуждение своего патриотизма.

В деспотии нет места патриотизму. От рабов нельзя ждать его проявления.

Любовь к родине не есть любовь к режиму, и активную борьбу с ним нельзя считать отсутствием патриотизма.

Презираемая власть может только до времени насилием заставлять себе подчиняться. Но с такой властью невозможно отстаивать родину.

Главная вина власти в том, что она слишком долго откладывала реформы. Исчезла вера в искренность власти добровольно свершить их.

Власть душила оппозицию, но не смогла все-таки задушить. Люди, стоявшие на стороне власти, после позорного мира стали эту власть презирать. Таким образом, и друзья и враги объединились против этой власти.

Власть была всесильна и все-таки привела Россию к позору и гибели.

Наш режим приучил нас к внешнему величию и к рабству у себя дома. И вот, когда внешнее величие рухнуло, рабство себя показало.

По аргументации нашего режима, не произвол нарушал общественное спокойствие и порядок, а осуждение этого произвола.

В моменты революционного брожения власти самой необходимо пойти вперед и дать даже больше, чем ждут. Такое волеизъявление сверху затушит всякий огонь.

У нас власть всякий прогресс, свободу и правду назвала «бессмысленными мечтаниями»... Вы помните уныние того времени. Каждый со стыда и горя готов был броситься головой хоть в пропасть. При роковых словах о «бессмысленных мечтаниях» сам собою стал вопрос: кому быть, России или династии?

Всякий режим отвратителен — монархический, республиканский и всякий прочий, когда власть в руках мерзавцев. Победоносцев воскликнул: кто у нас ныне не подлец? А кто у нас не мерзавец своего отечества?

Для «звездной палаты» Россия — вотчина. Доходами ее награждали иноземные дворы и прочих. Дворянство свою свободу обратило в средство испрашивания для себя подачек... Городские Думы — в руках кулаков. Земства — сплошная дележка пирога. Волостные сходы — власть горланов и мироедов. Чуть не всякое частное общество — сплошное воровство. Народное благо — фраза в устах всех.

Сословие дворян-чиновников не просветило, не обогатило Россию, но оскотинило и обездолило. Сколько шкур дворяне-Обломовы содрали с народа. И это сдирание они называют культурой и патриотизмом.

Все инородцы с достоинством отстаивают свою национальность, а мы за себя не умеем постоять и лишь изредка насильничаем над евреями. Не путем насилия и вражды можно обратить инородцев в верных сынов России, а путем добра и доверия. Дайте инородцам должное, но охраняйте свое. Только тогда не будет у инородцев стремления к обособлению, когда мы станем во главе культурного движения. Русские очень трудно культивируются.

«ОН»

У нас простой народ или раб или бунтарь (или вор). Сознания прав гражданина нет.

Народ наш покорялся татарскому игу, крепостному праву, произволу бюрократии. Какова цена этой покорности?

Он был всегда неорганизован, и невольно ему приходилось быть рабом организованной власти. Последняя сложилась постепенно и не давала возможности народу организоваться.

Понятие о собственности у нашего простонародья самое дикое — понятие дикарей.

В городе или деревне иному собственнику трудно завести что-нибудь культурное, вроде скамейки, садика, фруктового дерева; беззащитны благоустроенные кладбища — сейчас разнесут и разграбят. Приходится защищать достояние чуть ли не оружием. Дикие самоеды и окраинные инородцы этого не делают, так что некультурностью это не объяснишь.

В огромном большинстве наш мастеровой и всякий работник любой профессии не любит своего дела, работает как бы поневоле, кое-как, лишь бы спихнуть дело... Человек работает как каторжный день, месяц, потом пьет как каторжный.

От беспрерывной опеки наш народ превращается в какой-то автомат. Он может успешно работать, но редко самостоятельно — все по указке.

Народом нужно не управлять только, но главным образом приучать к самоуправлению. Римляне и древние греки были образованы не лучше нас и нашей молодежи, но они были отлично воспитаны в государственном отношении, и в этом было все величие их культуры.

В характере народа есть удивительная черта: не доверяться здравому смыслу, не доверяться правде. Простонародье не верит советам людей знающих: докторам, агрономам. Мужик слушает пропойцу, горлана на сходе, а агроному не верит. Русский народ простодушен до преступного и за любым коноводом с легким сердцем идет по своему легковерию и наивности.

Прочтите священные книги евреев, их пророков,— как честят они свой народ. Хуже на свете людей не было и нет, если ссылаться только на слова и показания этих пророков. Про все народы не раз пророчили об их гибели, но они живы и развиваются. Вспомните Англию. А Японию?

Никакой закон, никакой режим, никакое правительство, никакая конституция, право и сила не могут из некультурных людей сделать культурных. Это может сделать лишь длительная эволюция.

Россия не прошла свой эволюционный цикл, после которого мы можем судить о народе.

«МЫ»

Мы все выросли и воспитались режимом на своеобразном и известном понятии о патриотизме. Это понятие и стало теперь омерзительно.

Все наши реформы — продукт порыва: начинаем горячо, остываем и бросаем, ничего не доведя до конца. Так идет жизнь и история всего государства, народа, общества и частных лиц. Порыв — и лень.

Вся беда наша, что мы способны, хотя и к тяжкому, но только порывистому труду, а не к труду регулярному и систематическому. Русский человек может поднять сразу 10 пудов, но подымать ежедневно по фунту ему лень. А культура движется только фунтами.

Скорбь о нашей культурной отсталости переходит в самооплевывание. Культурные народы бередят нас, а мы мечемся зря, желая сравняться с ними. И великий народ находится в положении великовозрастного школьника.

У нас есть, конечно, честные люди, не воры, но вся их роль в жизни общественной, государственной и частной — пассивная, страдательная, замкнутая, невлиятельная.

Наша интеллигенция ненавидит физический труд и хочет барствовать.

У нас люди общества, корпорации не могут быть свободными. На заседаниях разных обществ не столь говорится о деле, сколько стараются порисоваться радикальной болтовней. Наша интеллигенция и полуинтеллигенция насквозь пропитаны фразами, отвлеченными идеями.

Мы отстали почти на столетие...

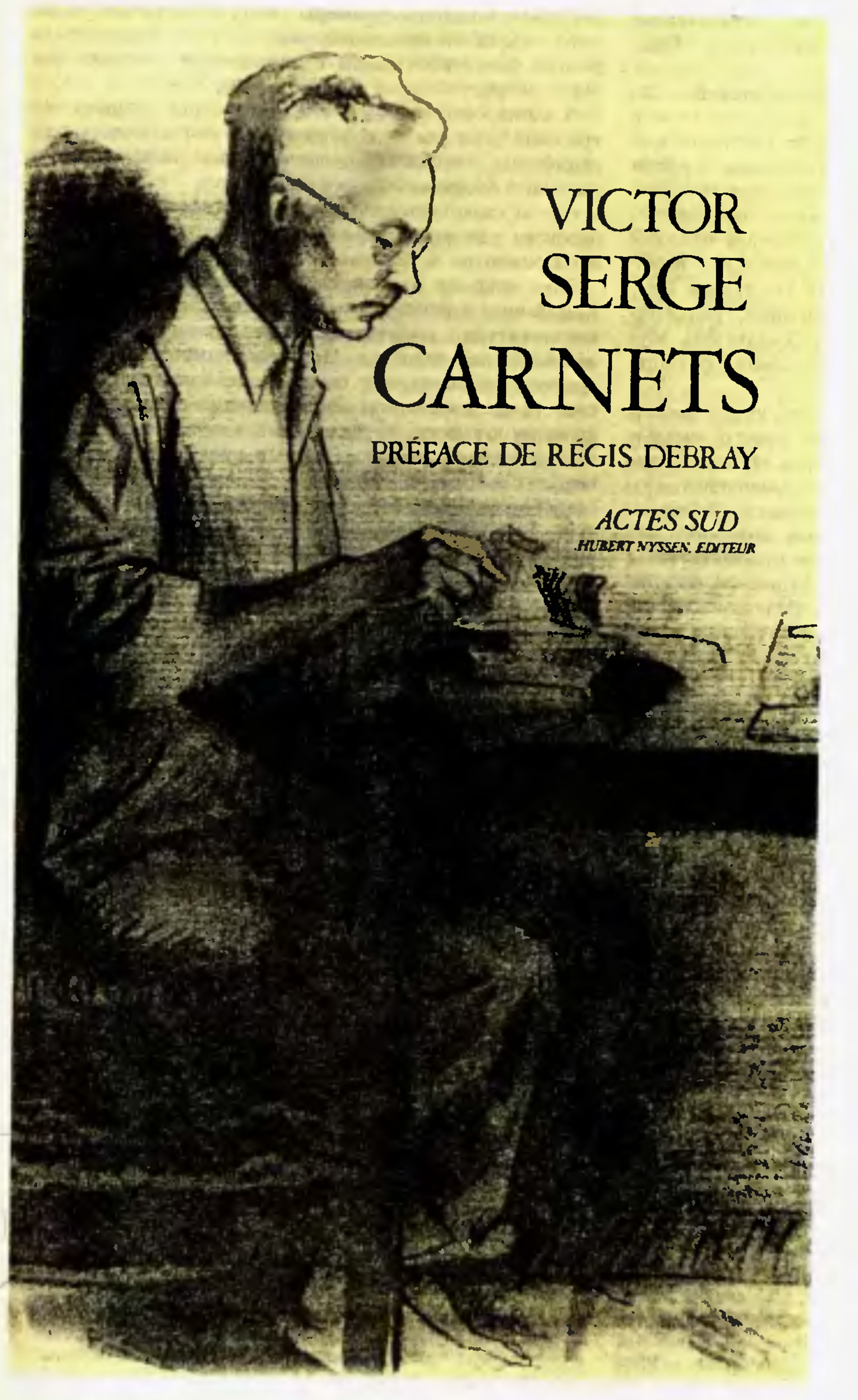
1905—1910? гг.

Публикация
Д. КОНОВАЛОВА

ИЗ ПОЛНОЧИ ВЕКА...

«Вот тот, кто не принимал желаемое за действительное...»

(РЕЖИ ДЕБРЕ)



Обложка издания «Записных книжек» В. Сержи, выполненная его сыном Владимиром Кибальчичем — известным мексиканским художником Влади.

1935 год. Париж, конец июня. Во Дворце согласия писатели тридцати восьми стран собрались на I Всемирный конгресс в защиту культуры, против фашистской угрозы. Ромен Роллан, Анри Барбюс, Генрих Манн, Анна Зегерс, Мартин Андерсен-Нексе...

В этот день в далеком от французской столицы Оренбурге, видимо, тоже было жарко. В анналах истории не отложилось, как именно коротал его политический ссыльный Виктор Львович Кибальчич, бывший анархист, бывший большевик, троцкист, активный деятель ленинградской оппозиции, получивший писательскую известность под коминтерновским псевдонимом «Виктор Серж».

Невозможно было и надеяться, что писателей-антифашистов с мировыми именами вдруг привлечет скажет с опальным троцкистом. Но провидение рассудило поиному. Достаточно мирное течение конгресса, в русло которого органично вписались и выступление Михаила Кольцова о советской сатире, и глубокомысленные рассуждения Алексея Толстого о преимуществах положения писателя в социалистическом обществе, вдруг взорвало «дело Сержа». Француженка Магдалена Паз, итальянский историк Гаэтано Сальвемини, редактор левокатолического журнала «Эспри» Эммануэль Мунье в один голос потребовали спасения Виктора Сержа.

Сама по себе такая попытка облегчить участь своего собрата-писателя не заключала в себе ничего чрезвычайного. Если бы не прямая параллель между сталинизмом и фашизмом, прозвучавшая в заявлениях. Советские коллеги предприняли было попытку обструкции «дела Сержа», дескать, обсуждение подобного вопроса не что иное, как отклонение от основной темы форума. Но то, что участники антифашистского конгресса все-таки приняли обращение к Сталину с просьбой освободить Сержа, служит достаточным подтверждением жизненности нечаянно возникшей параллели.

Да, именно здесь, на конгрессе, была впервые сформулирована проблема родственности фашизма и сталинизма, подходы к осмыслению которой мы ищем только сегодня. Правда, в итоге для Сталина все обошлось: его европейскую репутацию спас Андре Жид, который придумал беспроигрышный ход, смысл которого был гениально прост: предоставим Сталину самому снять возникшие подозрения. И этот ход сработал: 18 апреля 1936 года Серж вместе со смертельно больной женой и шестнадцатилетним сыном прибыл в Брюссель...

Но кто же он, этот безвестный в России мыслитель, оставивший после себя огромное наследие из политических и исторических эссе, романов и повестей? Кто он, этот политик, совершивший эволюцию от анархизма до собственных взглядов на политическую историю человечества, пройдя последовательно увлечение многими учениями и нигде не ставший своим?

...Зимой 1911/12 года Париж был взбудоражен каскадом дерзких «эксов». Наконец, после нападения на отделение одного из крупнейших банков Франции, «Сосьете женераль», банкиры назначили вознаграждение в 100 тысяч франков за сведения, содействующие поимке бандитов. Деньги сработали: полиция вышла на организацию «Спутники анархии» и всю весну одного за другим отлавливала ее участников.

На судебном процессе над анархистами и явилось впервые французской публике имя Виктора Львовича Кибальчича, дальнего родственника казненного в России народовольца. Юный анархист — ему было тогда 23 года — получил пять лет тюрьмы.

Отбыв наказание, Кибальчич был выслан в Испанию, где успел принять участие в Барселонском восстании. Оттуда вновь вернулся во Францию. И опять оказался в тюремной камере. На этот раз — по подозрению в большевизме. Можно было бы усомниться в правильности решения французской полиции, но вот факт: в 1918 году Советы выменяли Виктора Кибальчича на арестованного петроградской ЧК французского офицера.

Путь, проделанный молодым Кибальчичем от анархизма к большевизму, хоть и интересен, но не уникален, мы знаем подобные примеры. Интересно другое: с самого начала он попытался увязать, а то и примирить реалии Советской власти с принципами анархии. Это было непросто.

А когда опыт мировой войны и революционных потрясений стал для него доказательством иллюзорности пацифизма, краха социалистических парламентских партий, бессилия бюрократического синдикализма и тщеты «анархистского действия», Кибальчич все свои надежды революционера связывает с большевистским экспериментом и вступает в РКП(б).

Этот шаг не дает никаких оснований подозревать Кибальчича в неискренности. С юных лет он был чужд конъюнктуре, поклоняясь лишь одному богу: идее освобождения человека. Приверженность этой идее он пронесет не через одну систему идеологических ценностей. А пока элементы эволюционного подхода к большевизму и выводы из дискуссии с анархистами он излагает в эссе «Анархисты и опыт русской революции», опубликованном в Париже в 1921 году. И здесь он остается самим собой, предпочитая анализ непредвзятый, лишенный конъюнктуры. Хоть и была брошюра воплощением коминтерновского заказа (в его аппарате Кибальчич, выступающий под псевдонимом «Виктор Серж», отвечал за публикацию пропагандистской литературы на иностранных языках), на ее примере невозможно уже говорить о полном принятии автором идеи диктатуры пролетариата. Продолжая, в сущности, анархистскую традицию в духе Бакунина и Кропоткина, предвидевших неизбежность вырождения диктатуры пролетариата в диктатуру партии, большевик Серж вводит в текст раздел «Опасность государственного социализма», трактуя такую перспективу как «величайшую внутреннюю угрозу революции».

За годы работы в Коминтерне (с 1919 по 1928-й), Виктор Серж написал удивительно много. Его статьи и книги выходят во Франции, в других странах, формируя достаточно позитивное отношение к Октябрьской революции. Из-за недостатка документальных свидетельств эти годы остаются годами, которые ставят много вопросов. Какие, например, деликатные миссии выполнял Виктор Серж в Германии в 1922 году, в Австрии в 1923-м, для чего готовился к поездке в Китай? И какое в конце концов обвинение инкриминировало ему ГПУ, арестовав в 1928 году на восемь недель? Сегодня можно лишь предположить, что, работая в Коминтерне на мировую революцию, Серж сблизился с троцкистами. Во всяком случае, из ВКП(б) он был исключен в 1927 году.

За первым арестом в 1928 году последовал второй — 8 марта 1933 года — и высылка в Оренбург. Отсюда, как мы уже знаем, он выбрался в 1936 году.

Обосновавшись в Брюсселе, Виктор Серж близко сошелся с вдохновителями левокатолического журнала «Эспри» Мунье и Лефраном, много сделавшими для того, чтобы на антифашистском конгрессе возникло «дело Сержа». Позже В. Серж напишет: «В журнале «Эспри» я встретил левых католиков, которые были истинными христианами и прекрасными честными интеллигентами... Обладая обостренным сознанием живущих на исходе эпохи, они ненавидели ложь и кровопролитие во имя лжи и заявляли об этом решительно. Я почувствовал полное взаимопонимание с ними на базе простой доктрины «уважения к человеческой личности». И какая доктрина еще могла стать прибежищем в такие времена, когда цивилизация рушится как скалы от вулканического извержения?»

Но, конечно же, католиком Серж не стал. По предложению Троцкого летом 1936 года его кооптировали в организационное бюро движения за Четвертый Интернационал. Задача предстояла сложнейшая: среди троцкистских группировок Англии и Франции царили раскол и соперничество. Что же касается троцкистского движения как такового, то Серж характеризует его так: «Сектантство, авторитаризм, фракционерство, интриги, манипуляции, узость мышления, нетерпимость». Все это с присущей ему прямотой он высказывает в письме Троцкому.

Тот реагирует резко и болезненно: «Вы враг, желающий казаться другом».

Последующая полемика, в которой Троцкий выступает как защитник марксизма, а Серж приходит к ценностям демократического социализма, разводит их окончательно. В статье «Экреволюционные интеллигенты и мировая революция» Троцкий пишет о тех «разочарованных интеллигентах», что в условиях торжества фашизма и сталинизма встали на путь «полного разрыва с революцией», почитая важнейшей задачей момента защиту ценностей традиционной буржуазной демократии. К числу таких экреволюционных интеллигентов Троцкий отнес и Сержа.

После разрыва с троцкизмом Серж уже больше никогда не воспримет ни одну из существовавших тогда революционных доктрин. Оставаясь приверженцем идеалов освобождения человека, он считает, что догматики от революции толкают человечество на губительный путь. Он призывает задуматься над вещами, на его взгляд, очевидными: «Большинство по-прежнему видит лишь слишком упрощенную альтернативу социализм — капитализм и мыслит только категориями исчерпавшего себя исторического материализма». Главная же опасность, по Сержу,— тоталитаризм, который уже обрел зловещие очертания и в той, и в другой социальных системах.

В 1939 году в Париже выходит его роман «Полночь века». «Силу Гитлера создал Сталин, отлучая от коммунизма средние классы кошмаром ускоренной цивилизации, голодом, террором по отношению к специалистам. Гитлер, приводя в отчаянье социал-демократов Европы, усилил Сталина... оба ведут тех, кому служат,— буржуазию в Германии, бюрократию у нас,— к катастрофе...» — говорит один из героев романа.

В июне того же года в «Эспри» выходит статья В. Сержа о сталинской внешней политике, которой он предупреждает о сближении сталинского и гитлеровского режимов.

Через два месяца был подписан пакт Риббентропа — Молотова...

Вторжение в Европу фашистских армий заставило Сержа перебраться в Мексику. Здесь он находился вплоть до 1947 года, когда оборвалась его жизнь. В возрасте пятидесяти семи лет.

Сегодня его имя возвращается в Россию. Возвращается вместе с идеей приоритета общечеловеческих ценностей, с идеями неприятия тоталитаризма в любой форме.

ВЛАДИМИР БАБИНЦЕВ,
ВАЛЕРИЙ ИВАНИЦКИЙ

ВИКТОР СЕРЖ

ПОЛНОЧЬ ВЕКА *

С набережной Революции (а в действительности там нет набережной, есть только широкий запущенный бульвар на горе, который вдруг обрывается уступом из черного камня в сто метров над рекой) открывается на пятьдесят километров вокруг равнина и леса, вздымающиеся, как море; ни пятнышка, ни жилья, ни огонька в ночи. Огоньки только в небе по ночам, и то лишь в большие морозы или сказочными вечерами, трепещущие от вселенской ласки звезды блещут сверхъестественным светом, который будит в вас вкус к жизни. Черное и Черная. Название реки ей идет, несмотря на резвость торопливых, слегка кипящих волн, бесконечно несущих лохмотья неба над темными камнями в глубине, которые можно разглядеть сквозь почти прозрачные воды. Под городом тоже выход черного камня — результат какой-то геологической катастрофы. Земля творит себя такими революциями, хороня, перемалывая целые леса, гомонящие от птиц... Рассказывают, что Серафим Беззмельный, основатель города, бежавший больше от безверия, чем от кабалы, прибыв на этот крутой утес со своей женой Надеждой, сыновьями, снохами, внуками, кричал: «Хвала тебе, Господи! Исполнилась воля твоя! На этих черных камнях мы построим себе дом, на этих черных камнях мы станем есть свой черный хлеб антихристова племени...» Умом он предвидел все и, сидя на вершине перед пустынным Севером, предчувствуя свою смерть, изрек: «Не лишай меня, Господи, сей чаши, ибо доказать хочу свою веру». Господь внял молитве, наверное, единственной, которую он услышал за все века на русской земле, где каждый пил свою горькую чашу, можете не сомневаться, до последней капли, и этим не кончилось. Из скал встали бревенчатые избы; в августе заколыхались золотые хлеба; девушки, которые дважды в день таскали с Черной, выгибаясь под коромыслом, бадейки прозрачной воды, протоптали босыми ногами по траве, земле и даже камням извилистую тропку, которой они ходят уже двести лет; ныряли в Черную, опьянясь свежестью и отвагой, сверкающие в лучах летнего солнца тела мальчишек, которых подстерегали коварные воронки, каждый год увлекающие вдруг на самое дно несколько безрассудных вихрастых головенок... Тельца находят тремя километрами ниже на песчаной косе, где они выглядят безнадежно уснувшими и избитыми, неестественно прозрачно-голубыми. В те времена, когда был основан город, ему выпало десять спокойных лет. Потом на краю северного света, в Пустозерске, был сожжен великий еретик; а гонитель, великий патриарх, умер гонимым, и его останки спустили на барке по другой реке под молитвы и рыдания народа. Серафим Беззмельный молился за этого человека веры, который посягнул на веру, расколол церковь, предал, изгнал, отлучил, оскорбил истинно верных. Другой патриарх, насаждая свою злобу и власть, вспомнив о Серафиме, призвал его в Кремль, с христианским смирением предложил ему хлеб, соль, прощение и сказал: «Покайся, Серафим, и грехи твои будут забыты, и я благословлю тебя». Серафим же в ответ возопил: «Сам покайся или молчи, Сатане служишь, бесстыжий!» И приковали Серафима в подвале Троицкого монастыря. Зима там была вечной. Слышался колокольный звон ложной веры. Но ему довольно было сомкнуть веки, дабы узреть мироносный Святой Лик. Тогда, дрожа и лязгая зубами от холода, но волей собирая последние силы, твердил он: «Господи, не отрекусь от тебя ни в чем, не отрекусь от тебя ни

* Отрывок из романа «Полночь века»

в чем, не отрекусь ни в чем от люди твоя». Там и умер он, отупорствовав годы, оттерзавшись тоской по воле, черным скалам и детям своих детей. О жизни его, сумерничая зимой, рассказывают всякий раз с совершенно другими подробностями; такие разговоры воодушевляют инвалида Тихона, который в 18-м проделал с Блюхером весь Уральский поход, и, в свою очередь, он пускается в воспоминания о боях, плене, о том, как его расстреляли на берегу Белой. Офицер перед строем пленных скомандовал: «Евреи и комиссары, три шага вперед». Вышло трое. Следом Тихон, встал рядом — молодой, русоволосый парень в ремках. «Ты ж не еврей и не комиссар, сукин ты сын! Пули захотел, эй, сопляк!» — кричали ему. «Я, ваше благородие, за коммунию»,— заявил Тихон, хотя и не знал толком, что это такое, и все нутро его вопило от страха. Страх его и спас, опрокинув в овраг сотой долей секунды раньше пули. А теперь он торгует папиросами — когда их завозят — в лавке райкоопсоюза на рыночной площади. Среди местных можно найти и другие приметные имена: есть один Серафим Серафимович, есть торговка солеными огурцами Надежда Серафимовна, есть член партии Любовь Серафимовна, а секретаря Совета зовут Аввакумом Несторовичем.

Между Серафимом и Тихоном мимо Черного и Черной прошло два суетных столетия истории. В начале XVIII века город осадили зыряне; они стреляли камышовыми стрелами с наконечниками из рыбьей кости. (А может, это были не зыряне.) Город горел примерно раз в тридцать лет: от пожара к пожару и поколения сменялись, и все усовершенствования были связаны с этими великими бедствиями. Революция случилась только раз: начальник полиции скрылся, и тогда некий политический ссыльный созвал врача, агронома, ветеринара, учительство, рабочих рыбозавода, извозчика, почтаря и объяснил им, что отныне они образуют Временный комитет самоуправления города и уезда. Агроном Бабулин, тучный человек с низким лбом, сказал: «Понимаю. *Республика* — общественное дело. Вот здорово. Что же будем делать?» Почтарь предложил составить послание Временному правительству князя Львова, врач — дискредитировать вакцинацию учащихся...

* * *

Подготовленная веками великая буря начиналась при всеобщей наивности. Где они, персонажи минувших дней, и кто помнит об этом? Каждое половодье обновляет землю. Тот политический ссыльный, эсер, кажется, если не народник, максималист или что-нибудь в этом роде, звался Лебедкиным. Его знали давно, зимой он одевался в черную шубу, летом — в подпоясанную шелковым шнурком белую блузу, бородка у него была жиденькая, а тон — полупрофессорский, получудаческий. С юности он перечитывал одни и те же книги: Бокль, Лавров, Михайловский — и, разумеется, передумывал одни и те же мысли. Он не удивился, когда однажды утром, на двенадцатом году своей ссылки, разматывая принесенную приятелем-телеграфистом катушку телеграмм, вдруг понял, что все свершилось. «Ну вот,— сказал он, поправив на носу пенсне,— мы победили». И добавил с задумчивым видом: «Теперь матушка-Россия поплатится за удовольствие».

Спустя несколько дней его посетил странный гость... В тот самый момент, когда он, умостившись на диване, собирался задуть лампу, в ставень тихо стукнули. Лебедкин, закутавшись в древний халат, открыл окно, оттолкнул ставни и разглядел во тьме несуразное лицо в меховой шапке с длинными висячими ушами. Приплюснутый нос, маленькие косые глаза. «Нынче вы голова,— сказал человек приглушенно,— стало быть, мне надо с вами поговорить, Иван Василич». Лебедкин облокотился на подоконник, майская ночь была почти теплой, в тишине с головокружительной кротостью распростерлись созвездия. «Слушаю вас, товарищ...»

— Я ничто,— сказал человек. — И никто. Но я очень понимаю все. Я рыбак с нижней улицы, звать Алексей Матюшенко. Вам это без разницы, мне тоже. Денег мне надо, Иван Василич, чтобы ехать в Петербург для общего дела, вот.

Лебедкин созерцал эту непрозрачную голову, вырисовывающуюся на фоне Млечного Пути. «Денег,— произнес он, ничего толком не соображая,— а для чего?» Глаза человека, большие, как самые крупные звезды, были совсем близко от его глаз, дыхание их смешивалось. «Надо его зарезать,— сказал человек,— и я его зарежу, или все пропало, мы ничего не добьемся...» Он положил на подоконник широкую бугристую ладонь с расставленными пальцами. «Кого?» — спросил простодушно Лебедкин. «Царя Ирода». Лебедкин пощипал себя за бородку. Не коснется ли он звезд, протянув руку? В тишине было что-то колдовское. Он коснулся лишь плеча рыбака Алексея Матюшенко и услыхал свой ответ: «Ты, наверное, прав, товарищ Алексей, будет правильно, если ты поедешь туда, как бы ни было трудно преуспеть в таком деле. Я же, знаешь ли, слишком стар. А денег, у меня их нет, брат».

— Тогда,— сказал собеседник,— я пойду пешком. Буду воровать. Но дойду. А ты молчи.

— Да,— помедлив, отозвался Лебедкин,— пора ставить вопрос о власти... О такой власти, какой никогда не было, которая будет иметь неслыханную силу, неисчерпаемую, беспощадную и великодушную...

— Сначала беспощадную,— выдохнул Матюшенко,— чтобы очистить землю. Мы станем добрыми после... Еще будет время.

Показалось, что он улыбнулся: «А раньше я не смог бы». Они пожали друг другу руки. Матюшенко широким шагом двинулся к Черной, которая сверкала в близкой пропасти, как всегда.

Лебедкин закрыл ставни, улегся, укрылся шубой, минутку поколебался, прежде чем погасить свет, пытаясь вспомнить какие-то строчки из Некрасова. Во мраке вставало только одно слово: Россия, Россия,— и это было ужасно и сладко, как простое и таинственное дыхание спящего рядом чудовищно сильного существа.

1936—1938

НАУЧНЫЙ СОЦИАЛИЗМ И ПСИХОЛОГИЯ*

17 февраля 1944. Социализм «научный», то есть рожденный от непредвзятого научного искания и вскормленный современными знаниями, достаточно к тому же сообразительный, чтобы не упустить возможности опереться на колоссальной эффективности миф, каковым стала наука, благодаря совпадению сдвига в области современной (подлинно научной) индустриальной техники с безграничным расширением видения человека и истории,— научный социализм Маркса — Энгельса — Ленина — Троцкого — Бухарина был, в сущности, высшей точкой активного знания XIX века. Невозможно отделить знание от активности, знание есть действие, господство над природой вплоть до природы человека, оно обладает утилитарным динамизмом даже в своих самых бескорыстных, самых далеких от практической деятельности аспектах. В этом смысле положение Ницше: верно все, что служит жизни,— глубоко справедливо; поиск истины есть борьба за жизнь; истина, которая никогда не бывает постигнута, которая всегда в состоянии постижения, есть непрерывное покорение, стремление к более осязаемому, манящему, трепетному сближению с идеальной, быть может, недосягаемой истиной. Научный социализм родился примерно на полвека раньше современной психологии. Естественно, проблемы социально-экономические были поставлены раньше проблем углубленного познания человека. Капиталистический век был веком примата экономики. В прежние времена сущность человека была заботой богословия, но его выводы и взгляды безнадежно устарели. (Отметим, что Фрейд, Адлер и прочие испытывали потребность противостоять «психологии без души» и придали слову *душа* четкий смысл.) Великие, главным образом русские, марксисты, захваченные борьбой и опьяненные практическим успехом, перестали следить за ходом развивающихся наук. Философская книга Ленина *«Эмпириокритицизм»* — наиболее слабая из его работ; в марксистском наследии *«Анти-Дюринг»* Энгельса — один из самых устаревших трудов, и я крепко сомневаюсь, что можно еще что-нибудь извлечь из плехановского монизма. Вульгарное истолкование тезиса: «Марксизм — не философия, но метод изменения мира»,— оборачивалось зачастую интеллектуальным поражением; в сущности, марксизм оставался философией, совершенно упустившей из виду, что мир не может быть изменен без постоянного обновления этой философии, без непрерывного приведения самых фундаментальных идей в соответствие с прирастающим научным знанием.

От пренебрежения этой ревизией, от недоверия (иногда законного) социалистов по отношению к психологии, от попыток (не вполне лишенных справедливости) объяснить психологическую мысль методами исторического материализма произошло то, что социализм позволил себе отстраниться от науки, а новые науки, не будучи впредь оплодотворяемы влиянием социалистического идеализма, претерпели более сильное воздействие реакционных течений. В русской революции этот феномен обернулся подлинной интеллектуальной катастрофой, которая во многом облегчила утверждение тоталитаризма. Извинением великим русским является то, что они не располагали временем: работали они всего лишь в течение десятка лет и почти всегда в условиях смертельной угрозы.

Главная в историческом материализме теория идеологической надстройки, основанной в конечном счете на экономическом базисе общества, уже не может существовать без капитального переосмысления. Неизбежное следствие: понимание роли личности в истории не может более довольствоваться марксистскими воззрениями минувшего века. Если верно, что Наполеон есть продукт буржуазной революции, то эта общая истина настолько обща, что совершенно устраняет проблему наполеоновской личности. Вспоминаю благонамеренных дурачков, которые вывесили в московском Музее современного искусства (галерея Морозова) рядом с полотнами Ренуара и Гогена статистические материалы, характеризующие развитие французской буржуазии. Несомненно, эти цифры отбрасывают некоторый небесполезный свет на французское искусство эпохи; но неподражаемый свет, который искусство отбрасывает на эти цифры, остается совершенно необъясненным. 1. Идеологические (и психологические) надстроечные структуры сделались настолько сложны, настолько существенны, настолько богаты за две и более тысячи лет непрерывной европейской цивилизации, что приобрели по отношению к экономике значительную, не поддающуюся произволу, созидательную или разрушительную самостоятельность; в широком смысле они живут сами по себе (поразительный пример: религия в России). (Еще примеры: национальности, их традиции.) 2. Психология подчеркивает, что, полностью повинуясь социальному детерминизму, человек несет в себе ментальные заряды, накопленные со времен своего появления. (Цивилизации, в сущности, молоды.) 3. Некоторые из этих зарядов, обладая безмерной мощностью, возникли раньше человечества, восходят к животному состоянию. 4. Правильный взгляд на историю должен учитывать психологическое состояние общества и личности, вплоть до анализа каждого конкретного события. В повседневной жизни нам приходится учитывать характеры, умонастроения групп, масс, личностей, и все это исходя из своего собственного психологического состояния, что бывает трудно, но не невозможно и, во всяком случае, необходимо.

Завещание Ленина, предугадавшее разрыв между Троцким и Сталиным, есть с этой точки зрения великолепный документ предвосхищения. Как-то я спросил Ф. Ф. (Раскольникова?), после того как он описал сцену разрыва между Троцким и Сталиным в Центральном Комитете в 1927 году, сцену, во время которой одно резкое замечание Троцкого смертельно оскорбило Сталина, а что, если бы эти два человека, считавшие, что их разделяют лишь бескорыстные политические концепции (да амбиции, с этим связанные: ощущение собственного предназначения), прежде чем отправиться на заседание Центрального Комитета, воспользовались бы консультацией хорошего психолога. «Разумеется, воспользуйся они этим,— ответил он,— они бы лучше владели собой и лучше разобрались бы...» Возможно, это не изменило бы борьбу, но укрепление самообладания перевело бы ее на более высокий уровень.

Человек — существо психологическое; взаимодействовать с ним, воздействовать на него невозможно без учета этого факта в самом серьезном смысле слова. Социалистический схематизм хотел преследовать интересы исключительно человека производства в эпоху, когда капиталистическое развитие влекло, по-своему ломало хозяев и наемных рабочих, не принимая, в сущности, во внимание их души, и когда научная техника, производя машины, не производила еще психологического анализа. «Не надо психологии!» Такое выраженьице я тысячи раз слыхал в России. Оно означало: мы боремся, работаем, прежде всего производительность, материальная объективность! Оно вело к самому ограниченному индустриальному прагматизму. Предела тупой низости оно достигло, когда прокурор Вышинский произнес подобное во время московских процессов и чуть позже Троцкому пришлось выступать в защиту психологии. Это поразительно, что русская революция закончилась психологической драмой. Вся современная история вращается вокруг этой самой драмы да еще нацистского феномена, который одновременно экономического и психологического свойства.

Нынешние тоталитарные времена — времена пренебрегаемой и подчиненной государственности и прежде всего экономической организации психологии. Так же как бедную науку средневековья понимали в качестве «служанки богословия», психологию, сведенную руководящей мыслью к узкой сфере грубого, элементарно-практического применения, понимают как служанку организующего производство государства. Это упадочные, несмотря на технический прогресс, времена, поскольку таким образом утверждается примат организации над человеком. Как политическая экономия была революционной наукой в капиталистическую эпоху, психология, возможно, станет революционной наукой тоталитарного времени; социализм не сможет уже обходиться без нее, не рискуя деградировать и впасть в состояние бесплодия.

Перевод с французского
В. Бабинцева

* Из «Записных книжек».



ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ

В НИКОЛАЕВСКЕ НА АЛЯСКЕ



250 лет назад, летом 1741 года русскими мореходами был открыт северо-запад Нового Света. «Найденная» земля была названа Русской Америкой, позже называть ее стали Аляска.

В 1867 году Аляска была продана Соединенным Штатам. За сто с лишним лет следы пребывания русских людей в этом краю стерлись и выветрились. Главным хранителем Русской Америки является церковь — принявшие православие алеуты и эскимосы не захотели изменить вере, на Аляске сейчас около ста православных церквушек. Русские имена читаешь тут на могильных камнях. В языке аборигенов мелькнет вдруг знакомое русское слово: «хлебак», «сахарук», «нужик» (хлеб, сахар, ножик)...

Эти снимки, сделанные на Аляске, к Русской Америке отношения не имеют. Они сделаны в староверческом поселке Николаевске, возникшем чуть более двадцати лет назад. История поселения такова.

Потомки староверов, выходцев из Центральной России, к началу нашего века обосновались в деревнях Приамурья. Очень чувствительные ко всякому беспокойству со стороны «мира», в 20-х и 30-х годах они были вынуждены бросить насиженные места и «утекли», как сами говорят, за Амур, в Китай. В 45-м году новое беспокойство — приход в Китай нашей армии, притеснения за «самовольный переход границы». А в 50-х годах ультиматум китайцев: «у нас и так тесно, ищите себе место для жизни».

Поиски этих мест были долгими и драматическими. Тысячи староверов переселились в страны Южной Америки. Но не все там прижились. Часть поселенцев после долгих хлопот и разведок переселилась в американский, «похожий на Сибирь», штат Орегон. Однако близость «мира» и тут беспокоила ревнителей старой веры. Стали искать местечко поглуше. Так с Амура шестьдесят семей судьба привела на Аляску, на полуостров Кенай.

Начали все с нуля. Купили квадратную милю лесной земли и за год срубили деревню, назвав ее Николаевском. Сейчас деревня вполне обжита — дома со дворами, школа, почта, проведена по лесу дорога. Первым занятием новоселов было тут, как и везде, земледелие — в этой части Аляски растут многие овощи, вызревают посевы ржи. Однако более выгодным делом в этом краю является рыболовство. Начав артелью строить рыболовные катера на продажу, со временем николаевцы сами освоили промысел в море — успешно ловят палтуса,





Николаевск был срублен за год. Рыболовная пристань находится в сорока километрах от деревеньки.



лосося. Деревня живет в достатке. У каждой семьи — автомобиль, а то и два. И есть все необходимое для жизни многодетных, как правило, семей.

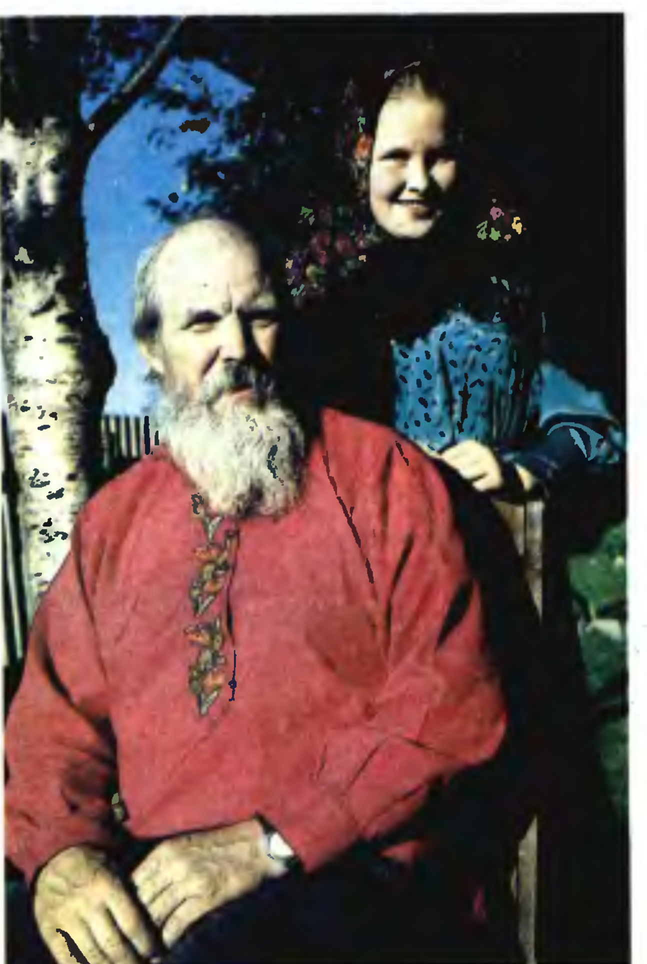
Однако не хлебом единым жив человек. Для староверов, где бы они ни осели, забота главная — сохранить веру, обычаи старины. Поначалу казалось: Аляска подходящее для этого место. Однако и тут нежданно обнаружилось то, от чего бежали из Орегона. Радио, телевидение, государственная школа, близость магазинов с разного рода соблазнами, стремление молодежи к современной одежде и нынешним развлечениям — все это входит в противоречие с устоями веры и старыми обычаями. Выбрать место поглуше? Но где? «Дальше — только белые медведи»,— сказал мне священник Кондратий Сазонтьевич Фефелов.

О том, как далее жить, вели непростые дискуссии. И образовались две группы: «либералы» и «консерваторы». «Либералы» готовы мириться с соблазнами жизни. Закрывают глаза на увлечения молодежи, построили церковь. (Ранее общинники называли себя «беспоповцами».) Это вызвало негодование «консерваторов», и они решили уйти из поселка, облюбовав местечко понедоступней...

Сейчас в Николаевске сорок семей. Глядя на снимки, по этим лицам вы сразу признаете русских людей. В одежде прежней строгости нет — молодежь можно увидеть в нынешних модных куртках. И все же преобладают вышитые рубашки с поясом, кое-кто носит кафтаны. Взрослый мужчина непременно при бороде. Забота особая — сохранение языка. Дома разговоры —







Анисим Стафеевич и Соломия Григорьевна Калугины. У них двенадцать детей. На снимке слева — младший, Поликарп, с семейным портретом.





только на русском. Но в школе учителя — американцы, и учение идет на английском.

Полуостров Кенай, куда судьба забросила горстку людей с Амура,— это, конечно, север с долгой, правда, сравнительно мягкой зимой. Еловые леса с примесью ивы, ольхи и тополей вдоль речек напоминают нашу Ленинградскую область. Новоселы Аляски, конечно, вздыхают по житью в Приамурье. Но давнее то житье все уже знают лишь по рассказам умерших родителей. Жизненный опыт старшего поколения в Николаевске связан с Китаем, Южной Америкой, Соединенными Штатами. Сравнивая остановки на огромном пути по земле, они считают: Аляска — подходящее место для жизни. А молодежь родилась на Аляске. Для нее тут все — близкое, дорогое.

Фото автора





Крестины в церкви и урок русского языка в школе. Справа — крестный отец с тремя братьями и священник Кондратий Сазонтьевич Фефелов с матушкой Ириной Карповной на прогулке.







Замечательный русский философ, писатель, врач и дипломат Константин Николаевич Леонтьев родился 13 января 1831 года в селе Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии в старинной дворянской семье. Начальное образование получил дома под руководством матери Феодосии Петровны (урожденной Карабановой) — воспитанницы Екатерининского института. Затем служил кадетом в Петербургском дворянском полку, а гимназию окончил в Калуге. По настоянию матери поступил в Московский университет на медицинский факультет. В эти годы Константин Николаевич начинает заниматься литературной деятельностью, успешное начало которой приветствует И. С. Тургенев, отметивший в молодом писателе крупное художественное дарование. Цензура, однако, отнеслась к начинающему литератору враждебно, запретив публикацию его драматической пьесы «Женитьба по любви» (1851) и первых глав повести «Булавинский завод» (1852).

Стремясь глубже узнать жизнь, влекомый патриотическим порывом, К. Леонтьев уезжает военным врачом в Крым, где с началом Крымской кампании служит в Белевском егерском полку, а затем становится младшим ординатором Керч-Еникалского и Феодосийского военных госпиталей.

В 1861 году в журнале «Отечественные записки» появляется первый роман Константина Николаевича «Подлипки», созданный на автобиографическом материале и повествующий о жизни дворянской усадьбы середины прошлого столетия. Следом за «Подлипками» появляется второй роман «В своем краю».

Вскоре по совету брата К. Леонтьев поступает на дипломатическую службу. Его карьера стремительна: секретарь консульства в Андреанополе, вице-консул в Тульче, консул в Янине и Салониках... В эти годы он пишет чрезвычайно много, и не только художественные произведения. Так, например, знаменитый сборник его статей «Восток, Россия и славянство» появляется именно в эту пору. Прочитав сборник, Л. Н. Толстой сказал: «Что касается его статей, то он в них все точно стекла выбивает, но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся».

В 1871 году писатель решается оставить дипломатическое поприще и едет в Польшу, где работает сотрудником, а затем и помощником редактора «Варшавского дневника». В 1880 году возвращается в Россию и становится цензором Московского цензурного комитета, совмещая службу с творчеством. В 1887 году по состоянию здоровья выходит в отставку и поселяется в Оптиной пустыни.

Скончался К. Н. Леонтьев 12 ноября 1891 года в подмосковном городе Сергиев Посад и похоронен близ Троицкой лавры в Гефсиманском (Черниговском) скиту.

Предлагаемые фрагменты из наследия К. Н. Леонтьева в советское время публикуются впервые.

НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

ОТЕЦ КЛИМЕНТ ЗАДЕРГОЛЬМ, ИЕРОМОНАХ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ*

...Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение церкви. Читал Жития. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и вообще миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям освободившимся, по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог, и святые падали), ни даже, что он умом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! я с теплою верой в Бога и в церковь, и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь, прихожу к нему, и что́ бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее этого старца. Но стоит мне только вспомнить историю человечества или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять, до чего даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И Священное Писание и история церкви к тому же совпадают вполне в этом отношении с практическою жизнью. Иуда был апостол, а разбойник разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал церкви и человечеству более вреда своею умственною гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.

Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу.

Думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта и православию совершенно чуждая, значило бы то же, что считать — что бы такое?... ну, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.

Как же может учение православной церкви не требовать, чтобы духовенство было как можно влиятельнее на нашу личную жизнь, когда оно так высоко ставит и сан священства и монашеский образ?

Наша распущенность, общая и мирянам и духовенству, наше равнодушие, наш «поздний ум, богатый с колыбели ошибками отцов»,— вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.

Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большею свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в обществе, то как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями — между сырою пещерой афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, все же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели — к поддержанию в себе, во время земной жизни близости ко Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходить только поутру в часовню (как делал, например, погибший столь трагическою смертью генерал Мезенцев), чем монаху выстоять большую службу; уже по тому одному труднее, что мирянина никто к тому не понуждает, кроме собственной веры; а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви так называемая «среда», тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.

* Отрывки из глав II, VI, VII.

Итак, говорю я, разница между самоограничивающимся и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе какое же бы могло иметь значение монашество, если б оно не исходило, как высший плод, из того же христианского общества и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния оно на этот внешний христианский мир не влияло?

В этом смысле, говоря о пользе и даже необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.

Отец Климент был тем, что называется катехизатор, но он, как еще в начале я говорил, не мог быть старцем.

Катехизатор убеждает, старец руководит. Катехизатор передает с успехом общие основы учения; он не берет на себя нравственную ответственность за частные дела, он не влияет на подробности жизни; старец соглашается давать прямые советы, какой путь избрать в каждом отдельном случае, он решается иногда даже повелевать тем, кто с верою и покорностью обращается к нему; старец осмеливается в пределах, допущенных учением, разнообразить свои требования и разрешения донельзя, смотря по личным условиям и по мере сил ученика и духовного сына своего... Старцы нередко решают одним словом своим: «да» или «нет» самые важные семейные дела, вопросы о браках, о разлуках и примирениях, о наследствах и т. п. Вот в чем разница.

Отец Климент мог превосходно действовать доводами; его значительные светские познания, авторитет его учености, его обширная и основательная духовная начитанность, логическая ясность его речи и в особенности его умение говорить именно тем языком, каким мы все говорим (умение, которому, к сожалению, так чужды многие из лучших монахов), вот что придавало особый, исключительный вес его словам в глазах образованных людей такого рода, которые не в состоянии стать прямо на духовную точку зрения. В подобных случаях он был иногда незаменимым. Глядя на него и слушая его, я часто с сокрушением думал о том: какою бы исполинскою силой могло обладать духовенство наше, если бы в среде его было больше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся пред строгим императивом церковного учения...

Многие светские люди будут почтительно слушать речи хорошего монаха, не по-светски воспитанного; они будут уважать его личный характер, будут подходить под его благословение; но умственные доводы такого монаха иногда уже потому долго не будут иметь полного веса в их глазах, что этот примерный и добрый монах не тем языком говорит, каким говорят в светском обществе, не тому учился, не то, совсем не то, может быть, чувствовал, что чувствовали в жизни они... И даже аскетические подвиги самого высшего порядка, совершаемые людьми иного воспитания, иной образованности, иных привычек, могут легко таким, не на духовной (мистической) точке зрения стоящим людям казаться как будто легкими для *тех*, для *иных*, для чуждых им по первоначальному воспитанию людей. Средний и даже небольшой телесный подвиг человека, в начале жизни своей светского и более или менее благовоспитанного, человека, избалованного хотя бы тем умеренным комфортом и тою полною свободой, которые доступны в наше время образованным людям среднего положения, больше трогает нас, чем самые непостижимые уму самоистязания человека простого и вообще иначе, не по-светски, воспитанного. Я объяснюсь нагляднее.

Видит светский человек на Афоне болгарина или грека, живущего в сырой, почти недоступной пещере, или слышит рассказы о нем. Пустынник этот питается давно, в течение многих уже лет лишь сухарями и водой и ночи проводит на молитве; советы его уважаются самыми влиятельными лицами Святой Горы. Его ставят в пример младенчества о Христе; умом он муж духовного совета; но сердцем он — незлобивый младенец... Отшельничество его сурово до непостижимости; один почитатель его просит его убедительно позволить у себя хоть раз переночевать. Пустынник находит это не по силам тому, но уступает... Все тело посетителя покрывается за одну ночь какою-то сыпью с пузырями от простуды, до того пещера сыра.

— Это любопытно! Это удивительно! — говорит светский человек; но тотчас же его мысль возражает ему:

— Да! Но как живут в миру эти простые греки и болгары? Не живут ли они часто без потолка, на земляном полу? В домах у них нет печек, а только очаг вроде костра, который и в пещере можно развести... Что едят в миру эти люди юга? Перец, маслины, хлеб и самый грубый сыр... Достичь, стало быть, такому греку или болгарину этого легче, чем даже русскому крестьянину, который привык хоть к теплу зимой в избе...

И хотя такое рассуждение светского христианина не совсем правильно; хотя истинный христианский разум ответит на это возражение совсем иначе, ибо и между монахами из пастухов и дровосеков такого рода люди выходят очень редко, но я говорю не о правильности, а только естественности подобного возражения; о том, что для иных людей знакомство с монахами, подобными Клименту, который жил в хорошеньком домике, очень любил тепло топить у себя и спал на хорошей кровати, может быть весьма полезным предварительным средством, чтобы понять и афонского пустынника. По внешним видимым подвигам последний, конечно, выше; по внутренней борьбе — неизвестно кто. Несомненно одно — что Клименты вообще таких греков и болгар, у которых переночевать безнаказанно нельзя, чтут неизмеримо выше себя, и этого одного довольно. Ибо, владея нашими формами, они могли бы лучше всякого другого объяснить нам сущность христианства (так, как понимает его церковь, а не так, как хотят понимать теперь его многие исключительно в смысле школ и благотворительных заведений)...

Однажды, когда Климент говорил мне долго и прекрасно о душе, о понуждении себя, о Промысле, я спросил у него:

— Хорошо все это, но я прошу вас, скажите мне откровенно: тут-то, на земле, есть ли хоть столько приятного у монаха, сколько бывает у мирянина при обыкновенной смене печалей и радостей жизни?

У Климента глаза заблистали:

— Есть, есть и гораздо больше! Надо только иметь полное доверие к старцам. А без старчества и внутреннего послушания трудно и понять, как могут жить на свете иные монахи. Когда я по нужде бываю в миру, я не дождусь вернуться сюда. Мне скучно, если я не в Оптиной.

Какие же могут быть радости и утешения в жизни добросовестного инока, который дал клятву отречения «от мира»? Ведь этот «мир» везде; он не оставляет человека и в самом строгом общежитии, он преследует его в безлюдной пустыне. «Мир» — это не столько совокупность внешних предметов, возбуждающих наши чувства и страсти, сколько те внутренние задатки возбуждений, которые мы носим в себе. Внешние предметы — это руки, ударяющие по струнам, но струны эти находятся в сердце нашем. Страсти мы носим в себе, и, давая клятву отречения, монах дает обещание бороться ежечасно против своего внутреннего «мира». Но куда от него скрыться? Я сказал, что этот «мир», носимый нами в недрах души нашей, преследует даже отшельников в самых безлюдных пустынях. Великие учители иноческой жизни очень немногим советуют, например, совершенно разобщаться с людьми.

Непомерное самолюбие, неутолимый гнев на людей, ужасное уныние и сладострастные мечты терзают в одиночестве и безмолвии такого пустынника, который удалился от людей без предварительной и долгой подготовки. Способность к раннему «безмолвию» есть особенный дар благодати.

Большая часть отшельников предварительно испытывают и приготовляют себя в многолюдных общежитиях. Так делается и теперь на Афоне. В общежитиях вырабатывается уступчивость, отречение воли, в общежитии человек отвыкает от своевольных желаний... Столкновения, частые оскорбления от братий (даже и от хороших людей) неизбежны и душеспасительны. Оскорбитель виноват, положим, но оскорбленному это на пользу... Идеал в том, чтобы всякий находил сам себя вечно неправым и ежеминутно грешным...

Это ужасно! Какие же тут возможны утешения? Какие радости?...

Да! внутренний подвиг серьезного монаха очень труден, но подвиг этот влечет за собой особого рода вознаграждения и здесь на земле.

Упрощаются требования, вырабатывается в человеке больше прежнего способность благодарить Бога за то, что по крайней мере *не хуже*. Все ничтожные, будничные, так сказать, отправления жизни озаряются высшим идеальным смыслом. Плохая, грубая пища радует иногда монаха больше, чем могут веселить тонкие блюда человека ими избалованного. Прогулка какая-нибудь в хорошую погоду, отдых после долгих служб и тяжелых послушаний, свидание с близкими людьми, к которым и монахам не запрещается иметь умеренные и разумные чувства. Все эти общечеловеческие права не отняты и у монаха. Внимательный к себе человек и за них сумеет поблагодарить Бога...

Что отец Климент был счастлив, служа в церкви, в этом нет сомнения. Я случайно раз услышал, как он обрадовался, когда, будучи одним из младших иеромонахов в скиту, при мне он получил от игумена приглашение всегда участвовать в соборных службах монастыря...

— Я очень рад! я очень рад! — повторял он, и лицо его стало такое веселое.

И мало ли еще какие другие земные утешения предстоят тому, кто решился избрать иноческий путь!.. Неожиданное умиление на принудительной и наскучившей молитве; какая-нибудь удача в занятиях, любопытное чтение, одно какое-нибудь ласковое слово и ободрение старца, иногда даже шутка его... Самые оскорбления и неудачи могут служить источником особенного рода отрад.

Без оскорблений, без неудач и без собственных проступков жить нельзя. Но впечатление от обиды зависит от нашей точки зрения; и оскорбленному монаху предстоит большая духовная радость, если он весело и кротко перенесет какую-нибудь несправедливость и глупость ближнего. Неудача объясняется милосердием Божиим для нашего исправления.

— Бог *взыскал* меня, Бог *посетил* меня... Наказывая, Он ищет исправить меня...

За проступком и грехом, за гневом, за движением зависти, за мечтами о женщинах, за честолюбивыми порывами следует нередко несказанная сладость покаяния и даже слез...

Люди, близкие к отцу Клименту, заставали его не раз плачущим в келье пред образом.

Слезы не всегда бывают тяжелы и горестны, в них иногда величайшая отрада...

Относительно скорбей вообще у монахов существуют такие суровые утешения, от которых человек, не привыкший к монашескому мировоззрению, легко может прийти в ужас. Но и эти, страшные в земном смысле, утешения могут быть очень действительны при известного рода напряжении ума.

Вот что говорит блаженный Иоанн Карпафийский в слове постническом и утешительном (извлечено из книги *Добролюбие*).

«Никогда не подумай превозносить выше инока мирянина, имеющего жену и детей, который утешается тем, что делает многим добро и обильно подает милостыню и при этом ничуть от злых духов не искушается, и не считай себя ниже такого мирянина в благоугождении Богу и не презирай себя как погибающего. Я не говорю уже это о том случае, если ты живешь непорочно, терпя монашеские скорби, но даже если ты при этом и очень грешен. Скорбь твоей души и твои страдания выше пред Богом, чем житейские добродетели; сильная печаль твоя и жалобы, и вздохи, и сетования, и слезы, и мучения совести, и недоумение помысла, и самоосуждение, и рыдание, и плач ума, и вопли сердца, и сокрушение, и смущение, и презрение к себе, и бессилие, и уничижение — все это и подобное этому случающееся с иноками, ввергаемыми в железную печь искушений, почетнее и приятнее пред Богом, чем благоугождение мирянина».

Разумеется, добросовестному монаху легче, чем нам, свыкнуться с подобными мыслями, ибо в течение долгих лет он слышит и читает их и в церкви, и в келейном одиночестве, и в беседах с духовным наставником своим, и за трапезой, и в пении, и в проповеди, и в Житиях, и в богословских книгах... Прибавлю еще и то, что всякий род жизни и всякое занятие имеют свои горести и свои особые радости. Объясните толковому торговому человеку или «хозяину» какому-нибудь, как страдает и чему радуется художник. Он даром не возьмет этих радостей, покупаемых такою дорогою ценой. Уверьте человека, привыкшего к покойной жизни и к безопасности благоустроенных городов, что моряку на море и воину в бою бывает иногда очень весело. Он поверит, быть может, на слово... Но не скажет ли он: «Да идет мимо меня сия чаша!» Пусть так, но не приятно ли видеть, когда практический человек понимает и любит поэта, благодарит его, так сказать, за те страдания, которые он решился избрать? Не приятно ли видеть, когда мирный и, быть может, по личным привычкам робкий гражданин восхищается подвигами воина и преклоняется пред ними?..

Пусть же христианин, неспособный сам стать монахом (это не есть необходимость), умеет чтить и понимать хорошего инока, хотя бы «в теории», так, как нередко умеет понимать умный делец страдания художника; пусть он чествует его, как чествуют храбрых солдат и генералов люди, неспособные сами взять оружие в руки.

Это будет гораздо справедливее и умнее, чем отрицать важность и заслуги того, к чему мы сами не чувствуем себя способными.

Я не стану распространяться здесь о пользе, которую я сам во многих отношениях извлек из бесед моего высокообразованного и верующего друга. Эта идеальная польза есть приобретение моего внутреннего мира, о котором было бы неуместно сообщать в печати. Здесь речь идет не обо мне самом — себя я должен коснуться лишь там, где это мне кажется необходимым для лучшего объяснения характера отца Климента.

Например, по вопросу о католицизме. Здесь, чтоб указать на катехизаторские наклонности покойного и обрисовать живым примером его ревность, я вынужден сознаться, что к католичеству у меня есть некото-

рое пристрастие, не в смысле догматическом, конечно, не в смысле чисто религиозном, но, так сказать, в культурно-политическом. Этими вкусами моими я очень много тревожил отца Климента; по этому поводу у нас с ним было много горячих споров; он сам заводил об этом предмете речь, увещевал меня, стыдил, преследовал за это на словах и даже в письмах; зимой — в моей или его келье, летом — в лесу на прогулках, спор этот не раз возобновлялся. В Москве, в Петербурге, везде я от времени до времени получал от него письма, в которых он касался этого предмета, по его мнению, очень щекотливого, по моему — очень простого и ясного. Сначала я думал, что он не понимает меня, что он смешивает во мне совершенно независимые друг от друга чувства и понятия, но потом я убедился, что не он меня, а я его не понимал. Но наконец он решился договориться до конца. И тогда я его понял и хотя все-таки остался при своем взгляде, но увидел, что разница между нами большая. Я никак не могу забыть ту исполинскую культурную борьбу ясного и выработанного старого с неопределенным и неясным новым, которая ведется теперь по всему земному шару; он ни на минуту не хотел вполне оставить заботу о спасении души, не только своей собственной, но и ближнего. Я, защищая некоторые стороны папства, думал *о судьбах Европы, столь сильно, к несчастию, влияющей и на Россию*, он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал *о моей душе*. Он боялся даже этой искры сочувствия папизму; он опасался, чтобы политическое сочувствие, ясно отделяемое мною от личных религиозных верований, не перешло незаметно во что-то иное. Однажды, слушая мою апологию католичеству, он повторил несколько раз, с укоризною качая головой:

— Смотрите! Берегитесь.

— Что такое? — сказал я смеясь,— не бойтесь, я католиком не сделаюсь; но мне жаль только, что большинство нашего духовенства не имеет той ревности, которую имеет католическая иерархия, и сверх того мы, к несчастию, так глубоко связаны с западом, что всякое вредное движение *там*, позднее, вы знаете, отзывается и у нас. Наша церковь еще не пережила тех открытых гонений, которые вот уже скоро век терпит папство от западных либералов, а, между тем, и у нас церковь если не потрясена, то уже подкопана со многих сторон.

— Послушайте,— воскликнул Задергольм горячо.— Вы долго не были настоящим христианином; вы обратились поздно. Я понимаю, что это очень полезно *для начала* уважать всякую веру, даже и буддизм, и предпочитать всякое исповедание пустоте мнимого прогресса. Да, для начала обращения... Но останавливаться на этом нельзя... Надо идти дальше и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не православие.

— Зачем я буду чувствовать это омерзение? — воскликнул я.— Нет! для меня это невозможно. Я коран читаю с удовольствием...

— Коран — мерзость! — сказал Климент, отвращаясь.

— Что делать! а для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы напрасно за меня опасаетесь. Я православию подчиняюсь, вы видите сами, вполне. Я признаю не только то, что в нем убедительно для моего разума и сердца, но и то, что мне претит... Credo quia absurdum...

— В учении церкви не может быть абсурда,— горячо возразил Климент.

— Вы придираетесь к словам. Я выражусь иначе: я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым, дурным и неизгладимым привычкам европейского, *либерального* воспитания кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд... Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу вам, что это лучший, может быть, род веры... Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняться ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это есть настоящая вера. Конечно, то, что я говорю, не слишком смиренно. Это — гордость смирения. Знаю, знаю все это, но простите, я хочу, чтобы вы поняли, что во мне происходит. Поэтому будьте покойны. Я к иезуитам не пойду; хотя даже и иезуит мне нравится больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет.

— Это национальный недостаток,— сказал Климент.

— Это к учению церкви не относится, это исторические условия... Впрочем, и у нас были ревнители. Я теперь собираю материалы для составления книги об этих русских ревнителях последних веков.

Тут нас, я помню, прервали, но Климент не успокоился и на другой же день возобновил разговор.

Я сказал ему так:

— Вы видите, я подчиняюсь всему. Ум мой упростить я не могу. Я даю ему волю наслаждаться мыслями; это может, конечно, отнимать время, но колебаний в основах веры не причиняет никаких. Я скажу вам один пример. У меня дома есть *Философский Лексикон* Вольтера. Однажды я прочел там статью о пророке Давиде. Вольтер доказывает, что в теперешнее время его признали бы достойным галер и больше ничего... в этом роде что-то... Я очень смеялся... *Я люблю силу ума; но я не верю в безошибочность разума*... И потому у меня одно не мешает другому. Я точно так же через полчаса после чтения этой статьи Вольтера, как и прежде, мог искренно молиться по Псалтирю Давида. Мы все многого не понимаем. *Лучше я буду подчиняться всему чему угодно по вере, чем подчиняться хотя бы Вольтеру, Боклю или Дарвину по разуму. Мой разум для меня дороже и милее всякого другого разума.* Я ведь и крещусь, и в церковь хожу, и все стараюсь исполнять так же, как любая из этих нищих старух, которые собираются из Козельска у ваших скитских ворот. Поэтому предоставьте мне бояться за все христианство и за весь мир, когда я вижу, как глубоко потрясен католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания. Дайте мне свободу жалеть обо всех этих разнообразных монахах с капюшонами и в широких шляпах, о пышных процессиях, о красных кардиналах. Высшая поэзия и высшая политика связаны глубже между собой, чем обыкновенно думают. Отходит поэзия, отходит и государственная сила, отходит даже и глубина мысли. Не вы ли сами недавно с завистью говорили мне, что у западных народов все было глубоко и выразительно. *Все трещины с углублением.*

(Чтобы понять последние слова, необходимо здесь передать один анекдот про русского купца и немца, полкового командира. Купец этот когда-то приезжал в Оптину пустынь и жаловался между прочим на убытки и рассказал, что более всего убытку причинил ему один полковой командир немец. Купец ставил ему телеги. Полковой командир забраковал большую часть за то, что на дереве были трещины. Купец воскликнул: «помилуйте, ваше высокоблагородие, разве можно без трещин?» Но немец возразил: «нет, бывает

просто трещина, бывает трещина с углублением» и отказался от телег. Отец Климент сам рассказывал мне этот анекдот именно по поводу того, что, как он сам сознавал, у романо-германцев все выразительнее, чем у славян. Он говорил об этом тогда с сокрушением сердца, так как себя считал совсем славянином по духу.)

Увидав, что я пользуюсь его же оружием и привожу его же слова, отец Климент разгорячился, начал говорить скоро, заикался даже, как это с ним нередко случалось, когда он был в сильном волнении, и едва-едва успокоившись, продолжал так:

— ...Слушайте, я прошу вас, внимательно, что я вам скажу: эта страстность, эта энергия, эта изобретательность и смелость ума, которыми отличаются люди запада, очень хороши и полезны в мирских делах, в государственном деле, в науке, в литературе. Но эта самая энергия и страстность были пагубны для европейца в религиозном отношении. Слушайте: со времени грехопадения первого человека дьявол тщится всячески совратить человечество с истинного пути. За первоначальным монотеизмом последовал ряд уклонений в многобожие, явились одна за другой все эти политеистические религии востока. Еврейский народ один боролся с ними во все время своего существования. После воплощения Сына Божия политеизм стал невозможен, но злой дух с самого начала поспешил вселить в церковь раздоры и ереси — арианство и так далее; вы это знаете. Гибла одна ересь при помощи Божией, являлась другая. Против этих ересей и расколов боролась церковь одинаково и на востоке и на западе. В Испании арианство одно время очень усилилось. Западное духовенство ревностно боролось против него, оно было право; но по чрезмерной страстности и энергии своей западные народы не умели ни в чем найти должную меру — они все переливали через край. Нужно было возвысить второе лицо св. Троицы, так как ариане уничижали Христа и отрицали Его божественность. Западные люди не удовлетворились утверждением восточного догмата; они прибавили в пылу борьбы, что даже Дух Святой исходит «и от Сына», чтобы всячески Сына прославить. И еще: все христиане чтили как следует Божию Матерь, но восточная церковь никогда не признавала, что на Ней не было, как на других людях, скверны первородного греха — безгрешен только Бог; все святые грешили. Западные народы не могли остановиться на этом; они избрали догмат беспорочного зачатия; они опять перелили через край. Они стали увлекаться этим поклонением Богородице до того, что чтут Ее нередко выше самого Христа. Еще пример: никто не отрицает, что нужно чтить глубоко епископский сан, чтить святость сана даже и тогда, когда человек, носящий этот сан, лично недостоин и очень грешен. Это азбука христианства, без которой христианином нельзя быть. Никто не отвергает даже, что римский епископ, первый между равными, старший в среде других епископов. Его первенство готова признать и теперь православная церковь, если бы Рим отрекся от своих догматических заблуждений, но западные народы и здесь перешли границы. Они выдумали, что римский епископ не епископ, а нечто особое, папа, наследник Петра Апостола, что он непогрешим...

— Позвольте (перебил я его), позвольте... Я понимаю, что это неправильно, но я хочу проверить себя. Ведь и у нас есть непогрешимость; непогрешимость вселенских соборов в общих делах веры и непогрешимость местных. Мы должны верить, что Дух Святой правит нашими соборами и синодами и внушает им решения независимо от того, каковы лично все или некоторые из влиятельных членов этих соборов, несмотря даже на кажущуюся нам несправедливость или мнимое несовершенство их решений. Богу известно, почему он собору внушил такое, а не иное решение... иначе без этой непогрешимости, без этого рода веры могла ли бы церковь держаться?...

Отец Климент едва удерживался, слушая меня... Я не давал ему прервать себя, но едва я кончил, он воскликнул с жаром и краснея даже в лице:

— Эта разница между соборною и единоличною непогрешимостью очень важная, очень важная... вы должны понимать это... вы, я говорю (продолжал он, почти с гневом наступая на меня)... вы обязаны все понимать; если бы вы были дама какая-нибудь или... один из тех прогрессистов, которых мнения вы справедливо презираете... тогда можно бы это простить... Но вы должны понимать, что разница в догмате важнее всего для нашей души... без правильного догмата нет спасения; положим, наши великие старцы оптинские, отец Макарий, отец Антоний говорили всегда: быть может, Господь многих искренно верующих и правильно живущих католиков и протестантов будет судить снисходительно, потому что они не ведали истины,— но оправданы быть они не могут вполне. Это выдумка — будто православная церковь допускает спасение вне своего учения. Такого рода терпимость невозможна... Вне православия нет истинного спасения... Вы должны, вы обязаны знать и помнить это... Вы говорите о простых этих козельских мещанках, которые побираются у нас, и что вы верите просто как оне... Мы должны стремиться к простоте и незлобию сердца, а не ума. Козельской нищей простительна простота ума, а вы должны идти вперед в богопознании. Вы должны понуждать себя. Прекрасно восхищаться разными религиями и понимать ту долю истины, которая в них заключена; конечно, это нередко очень полезный первый шаг к обращению... Но нельзя на нем останавливаться, чтобы не стать добычей дьявола... Враг пользуется всеми нашими наклонностями, всеми слабостями... и вот ваша любовь к поэзии, которой, конечно, много и в неправильных религиях, даже в язычестве... она вредит вам в этом случае... Дьявол знает чем каждого из нас взять... Вы заметьте,— продолжает еще Климент,— что правильная нравственность не может даже процветать на неправильном догмате... Духовенство католическое слишком лукаво... И обвинения мирян в этом отношении основательны...

— Увы! — возразил я,— все это так, но и наши духовные лица не чужды лукавства, когда дело идет о том, чтобы нажить побольше денег, или для монастыря собрать, или карьеру сделать. А честные, добросовестные, понимающие истинный дух христианства, лучшие наши представители православия, каких я встречал больше между монахами, чем между белым духовенством, обремененным грубыми семейными и хозяйственными заботами,— уже слишком мягки, слишком честны, так сказать, слишком думают только о спасении души своей и разве о спасении знакомых им людей, но не ищут влиять на общество, не ведут упорной, горячей пропаганды в высших слоях русского общества. А умная, деятельная пропаганда в высших слоях русского общества нужнее была бы, чем проповедь алеутам и борьба со староверами, представляющими для России очень полезный тормоз... Уничтожая староверство, мы, так сказать, передвигаем хоть немного центр общей тяжести нашей справа налево.

Опять беспокойство для Климента, опять тревога за мое индивидуальное устроение, опять возгласы:

— Берегитесь... берегитесь... нехорошо... Надо чувствовать омерзение ко всем ересям и расколам...

Он не исправил меня, сознаюсь,— я все тот же; я не умею упростить себя так, как он упростил себя умственно; может быть, мы оба правы...

АНДРЕЙ ШЛЫКОВ

ЗАБЫТЫЙ УНИКУМ

Слово «каньон» невольно воскрешает в памяти каждого из нас разрозненные кадры американских фильмов «о ковбоях»: обрывистые берега, тонкая ниточка реки далеко внизу, парящие орлы. И все это замешено на восторге, удивлении, ощущении необычайности... Слов нет, североамериканский Большой Каньон того заслуживает. Но отчего-то мало кто знает, даже среди любителей географии, о существовании не менее замечательного «подарка» природы у нас, в Дагестане.

С двух сторон несут свои «бешеные воды» Аварское и Индийское Койсу, чтобы, слившись у хребта Салатау, дать начало полноводному Сулаку. Небольшая по длине, всего 144 километра, эта река треть своего пути течет по дну гигантского каньона. И хотя он уступает своему североамериканскому брату по площади и протяженности, но более чем на сто метров превосходит его по глубине. Максимальная же разница между урезом реки и кромкой берега составляет 1920 метров!

Желающий полюбоваться Сулакским каньоном может сделать это на автомобиле. Но я бы посоветовал пройти пешком по одной из многочисленных пастушьих троп. Занятие, конечно, не из легких, особенно летом, и все-таки рискните. Вы увидите, как с каждым поворотом тропинки словно распахивается, раздвигается пространство. А потом, когда все трудности останутся позади, стоя на краю бездны, вы явственно почувствуете осязаемость, вещественность Пространства под вашими ногами, заполненного кристальным горным воздухом.

Красота каньона аскетична. Животный и растительный мир довольно однообразен. Кого здесь в избытке, так это кабанов и белоголовых сипов. Хотя численность кабанов стараниями браконьеров в последние годы значительно уменьшилась, они все еще приносят ощутимый вред крестьянским полям. А сипы — постоянное украшение неба над каньоном. Эти гордые хищники, с крыльями до двух метров в размахе, способны столкнуть со скалы ягненка, чтобы потом полакомиться его мясом. Иногда они вдруг собираются в стаи по 15—30 особей и водят замысловатые хороводы над обрывистыми берегами Сулака. Заходят сюда и медведи, появляются волки.

Трава радует глаз зеленью только ранней весной, чтобы потом выгореть и пожухнуть. Лес, состоящий в основном из сосен, растет на северных склонах берегов. К сосне примешиваются граб, кавказский дуб и типично русская березка. Иногда попадаются одичавшие грецкий орех и шелковица. Совсем редко можно встретить реликтовую лилию и розовую ромашку.

Сулакский каньон многое повидал на своем веку. Более ста тысяч лет назад на его берега пришли первые люди. Их наскальные рисунки можно увидеть у селения Чирюрт.

В 1396 году, возвращаясь из неудачного похода на Русь, в присулакскую часть Дагестана вторглись войска Тамерлана. А в середине XIX века камни Сулака обильно окрасились кровью российских солдат и горцев. Здесь, при штурме аула Гимры, в 1832 году был убит первый имам Дагестана — Гази-Мухаммед (Кази-Мулла), годом раньше начавший «газават» — священную войну против колонизации края Российской империей. Много мест в каньоне связано с именем другого национального героя Дагестана — Шамиля.

В 1963 году на реке Сулак была построена Чирюртовская ГЭС, а в первом году десятой пятилетки у поселка Чиркей Сулакский каньон перегородила уникальная 230-метровая арочная плотина Чиркейской ГЭС. На большей части каньона образовалось водохранилище двухсотметровой глубины.

Однако нет добра без худа. Водохранилища не только затопляют и без того малочисленные в горах плодородные земли вместе с селениями и памятниками культуры, но и изменяют климат в регионе. Необычайно снежные зимы 1987—88 годов — тоже результат их влияния.

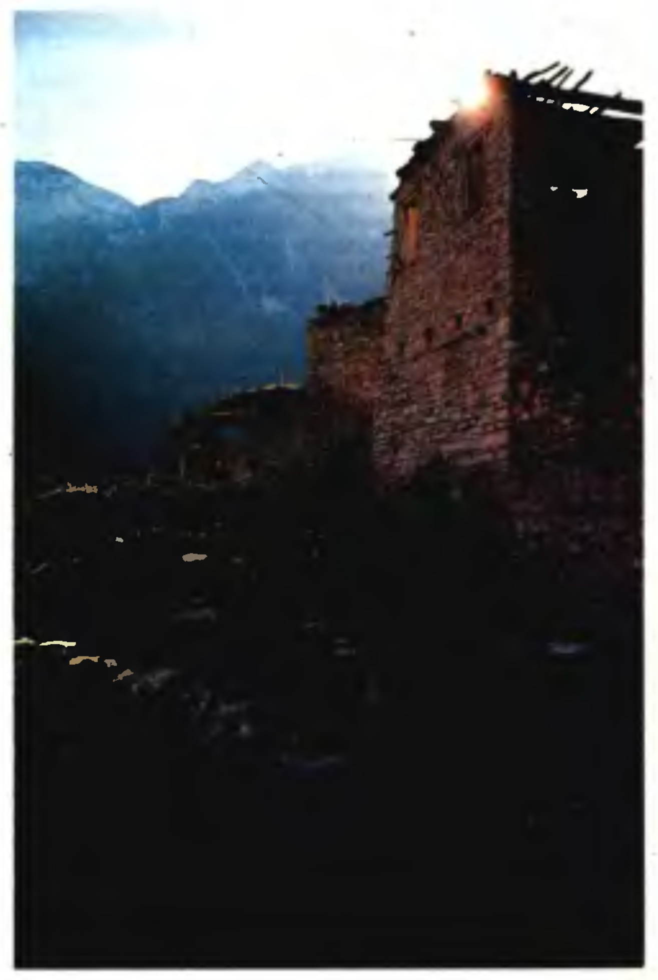
Первая ГЭС, что построена в низовьях реки, уже практически исчерпала себя из-за заиления водохранилища, превратившегося теперь в подобие болота. На очереди — Чиркейское...

А может быть, лучше было «на всю катушку» использовать уникальный памятник природы как объект туризма, придав ему статус национального парка? И средства, истраченные на строительство гигантских плотин, вложить в асфальтовые дороги и гостиницы, пустить на развитие народных промыслов и сельского хозяйства, хиреющих на глазах?

Может быть... Пока глубочайший в мире Большой Сулакский каньон остается в безвестии. А жаль...

Фото автора





ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОД КОНВОЕМ В «НАЦИОНАЛЬНОЕ»?

НАРИМАН ГАСАНОВ,
КОНСТАНТИН ЗАЧЕСОВ,
кандидаты философских наук



Историческая практика показывает, что национальные приоритеты (привязанность к своему этносу, культуре, языку, традициям) занимают одно из центральных мест во всем спектре социальных ценностей человека и общества: субъективно они чрезвычайно значимы и переживаются зачастую как определяющие всю жизнь — ее настоящее и будущее. Абсолютизация же национальных ценностей была и остается питательной почвой национализма и шовинизма всех мастей и оттенков.

На наш взгляд, национальные ценности никогда не являлись, не являются и не будут являться действительно определяющими для всей социальной жизни. Упрощенно говоря, общество может благополучно существовать и без этнических градаций. Это возможно уже потому, что духовный склад этносов есть явление не биологическое, не «кровное», а историческое, социальное. Этносы существовали не всегда, но и, возникнув, они не оставались неизменными, вечными, они модифицировались, изменялись вместе со своими языками и территориями. И если рассматривать историческую перспективу, думаем, весьма отдаленную, то **этносы Земли в конечном счете неизбежно сольются, взаимно ассимилировав друг друга.**

Безусловно, национальные ценности имеют исключительную субъективную значимость для людей. Но если мы не хотим усиления национализма, то должны сделать все возможное, чтобы в массовом сознании национальные ценности находились как бы «под контролем» безусловно более важных и значимых социальных.

Однако есть ли в нашей современной жизни такие «сверхзначимые» ценности?

Нам представляется, что есть. Более того, они уже давно найдены цивилизованным человечеством и даже закреплены в международных соглашениях, под которыми, между прочим, стоит подпись и нашего государства. Речь идет об общечеловеческих ценностях, а среди них — о правах человека. Живой, конкретный человек, его личная свобода и его неотъемлемые права — суть те абсолютные, всеобщие ценности, которые составляют основу гуманистического мировоззрения и гуманистической культуры. Именно они являются доминирующими над национальными ценностями и выступают в качестве цементирующей базы нового и высшего типа интернационализма, его современной исторической фазы развития. Такой тип интернационализма может быть назван «гуманистическим интернационализмом», а его лозунгом может стать формула: «Гуманисты всех народов, соединяйтесь!»

Первым шагом на этом пути должно быть провозглашение и гарантирование свободы национального самоопределения личности. Иначе национальная принадлежность советского человека должна стать, подобно вероисповеданию, его личным, не касающимся государства делом. Каждый должен иметь возможность официально фиксировать свою национальную принадлежность, если он сам этого хочет. Государственная регламентация в этом деле категорически недопустима. Этнические процессы в основе своей всегда естественны и не терпят искусственного «подхлестывания» или столь же искусственного «торможения». И в том и в другом случае неизбежны нарушения прав человека, но и к тому и к другому, как показал опыт, зачастую оказывается склонной государственная власть, поддаваясь идеологическим догмам или конъюнктуре.

Складывание «гуманистического интернационализма» потребует и признания пра́ва человека на свободный выбор его языка и культуры. •

Сейчас можно часто слышать весьма искренние и горячие монологи о необходимости сохранения и возрождения множества языков, культур, о ценности национального самосознания и т. д. Авторы таких выступлений, однако, почти нигде не говорят о том, каким конкретно путем намереваются достичь они благородных целей. Если путем агитации, пропаганды, убеждения — прекрасно! Ну, а если нет? Мы ведь както не особенно привыкли убеждать в чем-то наших людей. Ведь куда проще заставить... Заставить, например, в приказном порядке на определенной территории изучать язык этнического большинства. Всех заставить, кто живет на этой территории, и в первую очередь — представителей самого этого большинства. Мнение же и желание конкретного человека можно просто-напросто проигнорировать.

На наш взгляд, в этом кроется очень серьезная опасность очередных и массовых нарушений прав человека в нашей стране. Мы можем получить тот же самый государственный диктат над этнической жизнью индивидуума, только «с противоположным знаком»: если раньше советского человека чуть ли не насильно «выдирали» из всего «национального», то теперь его могут погнать обратно в «национальное». Самое любопытное, что и в первом и во втором случае этническое насилие оправдывается одним и тем же: лучшими побуждениями и заботами о человеке.

Складывание «гуманистического интернационализма» потребует и однозначного определения приоритета в вопросе о равенстве народов и равенстве граждан независимо от их национальности. Дело в том, что это качественно различные понимания равенства, и решение одного неизбежно тормозит или полностью блокирует решение другого. Так, равенство народов (если учесть, что они действительно различны: по численности, влиянию, возможностям) требует, конечно, строжайшей фиксации национальности каждого гражданина, обязательности освоения им родного языка и культуры, ограничения миграционных процессов, установки на сокращение межнациональных браков и т. п. Но это означает ничем не прикрытое нарушение прав человека и делает бессмысленной фразу о равенстве граждан независимо от их национальной принадлежности. Равенство же граждан независимо от нацпринадлежности (учитывая, что духовные, нравственные, деловые качества человека никак не зависят от национальности) предполагает отказ от «пятой графы», свободу в выборе языка обучения и культуры усвоения, неограниченную миграцию граждан любой национальности по стране и, уж конечно,— абсолютную свободу каждого при заключении брака.

Таким образом, мы находимся перед дилеммой решения проблемы в пользу того или другого варианта. Решение ее обоими вариантами «сразу» представляется логически и практически невозможным.

Мы выступаем за второй вариант решения этой проблемы. **Свобода и права человека, кем бы по национальности он себя ни считал,— превыше любых национальных ценностей.** Каждый из нас вправе любить свой народ, но ни одному не дано право навязывать свою любовь и продиктованные ею требования другому. Решение столь деликатного вопроса строго индивидуальное, и оно свято, неприкосновенно и непререкаемо для всех других сограждан. Соблюдение этого принципа не на словах, а на деле — первейшая необходимость для нашей страны. И чем раньше мы это осознаем, тем лучше.

ВАЛЕРИЙ ДУРНОВЦЕВ,
доктор исторических наук

МЕЖДУ ЛЕСОМ И СТЕПЬЮ

(еще одна тайна русской истории)

Евразийское движение. Евразийское самосознание. История Евразии... Эти словосочетания мало что говорят современному читателю: как и другие духовные течения русского зарубежья, евразийство не исследовалось отечественной наукой. Мельком брошенные замечания о «так называемых евразийских теориях с их антиисторическим, внеклассовым, биолого-энергетическим подходом к прошлому» только осложняли научное освоение истории русской мысли.

Евразийское движение возникло в начале 20-х годов. И несмотря на то, что его сторонники подчеркивали аполитичность выдвинутых ими историософских идей, мировая война, Октябрьская революция и гражданская война сыграли решающую роль в оформлении евразийского самопознания.

В евразийскую группу вошли богослов Г. Флоровский, историк Л. Карсавин, литературовед П. Бицилли, философ В. Ильин, литературный критик Д. Святополк-Мирский, философ права Н. Алексеев, экономист П. Савицкий, историк Г. Вернадский, лингвист Н. Трубецкой... О принципиальном согласии с фундаментальными положениями евразийства заявили и многие другие деятели русской науки и культуры за рубежом.

«Евразийская группа не есть ни политическая партия, ни секта фанатиков,— в фразеологии наших дней для нее наиболее подходит имя «лига русской культуры». Нас не связывает никакое догматизированное и тактически подстриженное «вероучение»; мы объединены только однородностью того тонуса, с которым переживаем впечатления современности»,— утверждал Г. Флоровский.

И самым горьким среди этих впечатлений было осознание «краха русской культуры». Обстоятельства личной судьбы отступили на задний план. Пораженные легкостью, с которой рухнула русская цивилизация, русские интеллигенты мучительно искали причины катастрофы, пытались нащупать пути национального возрождения.

Евразийцы подвергли сомнению мысль о единой общечеловеческой культуре, которая, по их словам, скрывает за собой идеи романо-германских народов и наносит ни с чем не сравнимый вред всякой национальной культуре.

Двухвековой «кошмар всеобщей европеизации России», считали евразийцы, породил чуждые русскому народу социалистические представления. Именно Западу «обязана» Россия октябрьским переворотом. Главным же «агентом» и проводником безответственной европеизации выступала, по их мнению, русская интеллигенция. Именно она, уверовав в космополитические «блага цивилизации» и сожалея об «отсталости» и «косности» своего народа, постаралась приобщить Россию к чуждым ей идеям, разрушив тем самым вековые устои ее собственной, самобытной культуры.

Естественно, что евразийцы решительно отвергли распространявшееся на Западе мнение, будто причины русской катастрофы таятся в природных свойствах русского народа. П. Б. Струве как-то воскликнул: «Бедный Запад! За все он является козлом отпущения!» Евразийцы попытались быть более объективными. Они считали, что вместе с Западом ответственность за русские беды несут и «верхи», политика которых была традиционно ориентирована на... европеизацию.

В представлении евразийцев, история Евразии есть многовековая борьба между «лесом» (оседлыми славянами лесной полосы) и «степью» (урало-алтайскими степными кочевниками). В монгольский период евразийско-русской истории «степь» победила «лес». В середине XV века «лес» в лице Московии взял реванш.

Если духовный источник Москвы — Византия и русская национальная культура немыслима без православия, то исторический источник — монголо-татары. Убежденные в «татарском источнике русской государственности», евразийцы немедленно получили от оппонентов прозвище «чингисханчики». *«Провозглашая своим лозунгом национальную русскую культуру,— писал в статье «Мы и другие» Н. С. Трубецкой,— евразийство идейно отталкивается от всего послепетровского, санкт-петербургского, императорско-оберпрокурорского периода русской истории. Не императорское самодержавие этого периода, а то глубокое всенародное православно-религиозное чувство, которое силою своего горения переплавило татарское иго во власть православного русского царя и превратило улус Батыя в православное Московское государство, является в глазах евразийцев главной ценностью русской истории».*

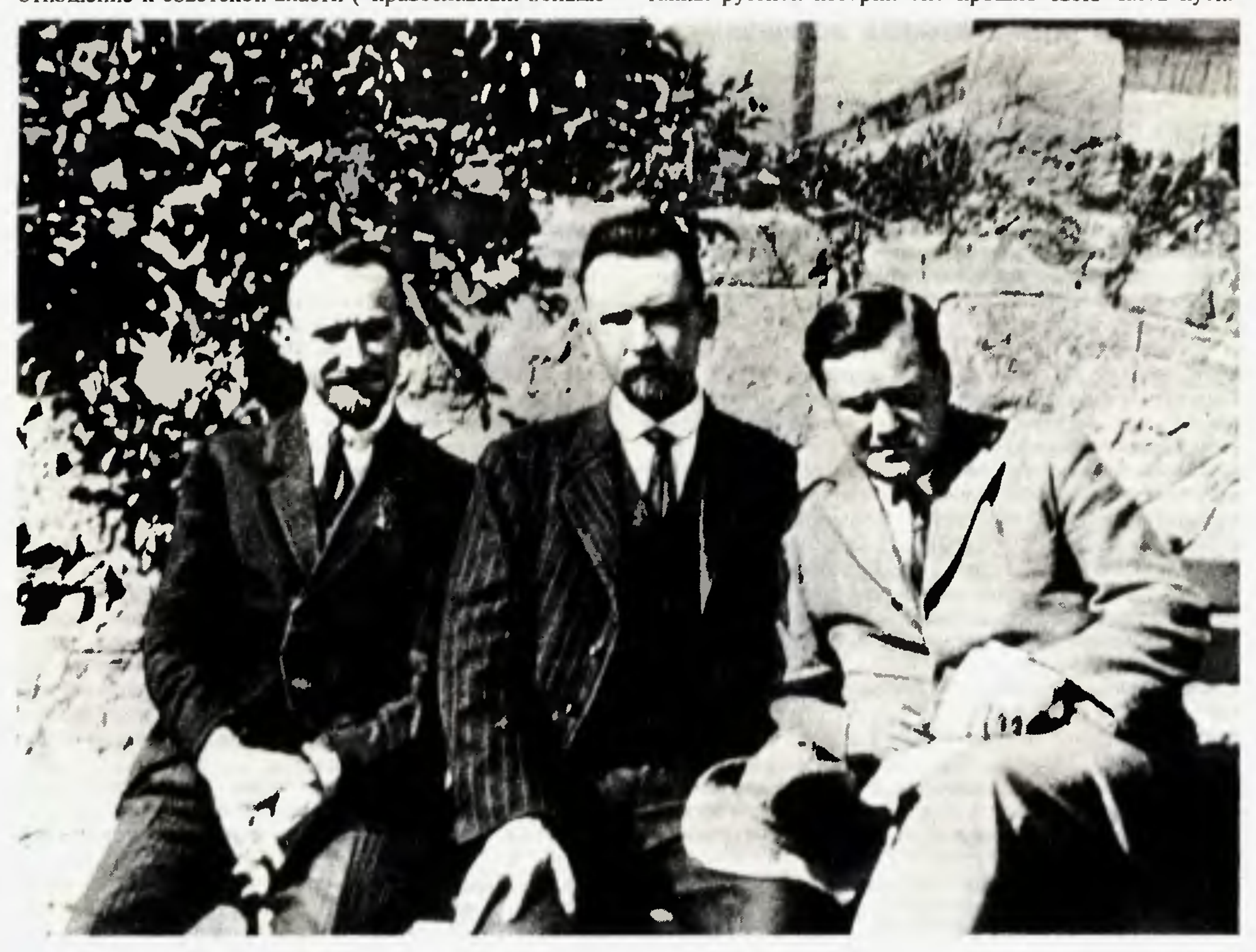
Ближайший идейный источник евразийского учения — славянофильские и постславянофильские представления о месте России во всемирно-историческом потоке. Можно назвать немало и иных национальных и западноевропейских реминисценций на тему Востока и Запада. Так или иначе впечатления от многих книг и имен бросают отсвет на евразийскую теорию. Евразийцы попытались поставить под сомнение известный тезис из «Духа законов» Ш. Монтескье, повторенный затем в «Наказе» Екатерины II — «Россия есть европейская держава».

Иллюзии честных русских интеллигентов, возмечтавших спасти Отечество и возродить национальную гордость русского человека на основе разрыва с европейской культурой, были развеяны довольно быстро. Критики евразийства (Струве, Милюков, Мякотин, Франк) обратили внимание на социальную опасность учения: оно уводит от реальной действительности, заставляя искать выход в старине. Русская культура, замечал, например, В. Мякотин, своеобразна и самобытна, но возводить эту самобытность в степень полярной противоположности западной культуре — абсурд и в историческом, и в политическом отношении. Еще более абсурдно и бестактно сваливать все беды русской жизни на Запад. Непримиримый к евразийству А. Кизеветтер писал: «Принадлежность России к европейской культуре вовсе не может лишать ее национального своеобразия, как не лишаются такого своеобразия ни Англия, ни Германия, ни Франция и т. д. С другой стороны, наличность таких своеобразий отнюдь не противоречит наличности общечеловеческих культурных начал».

В конце 30-х годов евразийское движение сошло на

нет. Немаловажную роль в его крахе сыграла политизация идей. Возникли утопические проекты по созданию Евразийской партии в СССР (ЕАП), вытеснению ВКП(б) с политической арены, овладению государственным аппаратом, наконец, установлению евразийского государственного строя в форме идеократии, осуществляемой элитарным «ведущим отбором» через систему свободно избранных Советов. Не способствовали укреплению авторитета евразийцев их двусмысленное отношение к советской власти («православный большевизм»), неумеренный восторг решением национального вопроса в СССР, весьма положительные оценки централизованного экономического планирования, государственного контроля в промышленности, индустриализации. Некоторые адепты евразийства увидели в СССР подлинно Евразийскую империю, выступили с политическими заявлениями просоветского толка.

Новые волны эмиграции окончательно смели евразийство. И все же, думается, в раскрытии великой тайны русской истории оно прошло свою часть пути.



"ВОЖДИ" ЕВРАЗИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ. СЛЕВА НАПРАВО — П.Н.САВИЦКИЙ, Н.С. ТРУБЕЦКОЙ И П.С. СУВЧИНСКИЙ.

Публикуемые в этом номере тексты принадлежат основателям евразийства. Их манифестом был сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев» (София, 1921).

Петр Николаевич Савицкий (1895—1968) — главный идеолог евразийского движения. Ученый исключительной одаренности: экономист, географ, историк, поэт (в 1960 году на Западе под псевдонимом П. Востоков вышел сборник его стихотворений). После окончания Петроградского политехнического института служил в русском посольстве в Норвегии. В годы гражданской войны без колебаний выступил на стороне белого движения. Служил в штабе Врангеля, был секретарем П. Струве. Находясь в эмиграции, стал техническим редактором возобновленного Струве журнала «Русская мысль». В первой сдвоенной книжке журнала (1921) Савицкий поместил рецензию на нашумевшую в эмигрантских кругах брошюру Н. Трубецкого «Европа и человечество» (1920), впервые придав понятию «Евразия» не только географический, но и этнический, культурно-исторический смысл.

Георгий (Джордж) Владимирович Вернадский (1887—1972) родился в Петербурге. Окончил Московский университет, слушал лекции во Фрайбургском университете в Германии. Магистерскую диссертацию посвятил истории русского масонства в царствование Екатерины II. Преподавал в Петербургском, Пермском, Таврическом университетах. Как и многие эмигранты, Вернадский не сразу обрел постоянное место жительства. До окончательного переезда в США в августе 1927 года жил и работал в Греции и Чехословакии. В США Вернадский стал одним из признанных авторитетов в изучении русской истории. Его фундаментальное исследование «История России» в пяти книгах (1943—1969) оказало исключительное воздействие на американскую историографию дореволюционной России.

Редакция предполагает обсудить идеи евразийцев в дискуссионном порядке.

ПЕТР САВИЦКИЙ:

«МЫ НЕ СТЫДИМСЯ ПРИЗНАТЬ СЕБЯ — ЕВРАЗИЙЦАМИ»

Культура романо-германской Европы отмечена приверженностью к «мудрости систем», стремлением намеченное возвести в незыблемую норму (...) Мы чтим прошлое и настоящее западноевропейской культуры, но не ее мы видим в будущем (...)

С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне «история толкается именно в наши ворота». Толкается не для того, чтобы породить какое-либо зоологическое наше «самоопределение», но для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего.

Созерцая происходящее, мы чувствуем, что находимся посреди катаклизма, могущего сравниться с величайшими потрясениями, известными в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры, вроде завоевания Александром Македонским Древнего Востока или Великого переселения народов. Такие повороты не могли и не могут совершаться мгновенно. Процессы, приведшие в результате к растворению Древнего Востока в эллинистическом мире, получили свое начало еще в период Великих персидских войн, а поход Кира Младшего с 10 тысячами греков на восток уже прямо предвосхищал намерения македонского завоевателя. Но Кир Младший пал, и Александр Македонский утвердил господство эллинской культуры на Востоке через несколько десятилетий после его смерти. Мы не знаем, какое из восстаний России против Запада окажется попыткой Кира Младшего, какое — делом Александра... Но мы знаем, что историческая спазма, отделяющая одну эпоху мировой истории от следующей, уже началась. Мы не сомневаемся, что смена западноевропейскому миру придет с Востока.

Здесь нельзя требовать доказательств. И думающие по-иному вправе называть нас безумцами, как мы их — слепорожденными. Для нас тревожнее вглядываться в черты того культурного переворота, который преподносится нам в бурях и содроганиях современности.

Всякое современное размышление о грядущих судьбах России должно определенным образом ориентироваться относительно уже сложившихся в прошлом способов решения, или, точнее, самой постановки русской проблемы: «славянофильского» или «народнического» с одной стороны, «западнического» — другой. Дело здесь не в тех или иных отдельных теоретических заключениях или конкретно-исторических оценках, а в субъективно-психологическом подходе к проблеме.

Смотреть вслед за некоторыми западниками на Россию как на культурную «провинцию» Европы, с запозданиями повторяющую ее зады, в наши дни возможно лишь для тех, в ком шаблоны мышления превозмогают власть исторической правды: слишком глубоко и своеобразно врезались судьбы России в мировую жизнь, и многое из национально-русского получило признание романо-германского мира. Но утверждая вслед за славянофилами самостоятельную ценность русской национальной стихии, воспринимая тонус славянофильского отношения к России, мы отвергаем народническое отождествление этой стихии с определенными конкретными достижениями, так сказать, формами сложившегося быта. В согласии с нашим историософским принципом, мы считаем, что вообще невозможно определить раз навсегда содержание будущей русской жизни. Так, например, мы не разделяем взгляда народников на общину как на ту форму хозяйственной жизни, которой принадлежит и, согласно народническому воззрению, должно принадлежать экономическое будущее России. Как раз в области экономической существование России окажется, быть может, наиболее «западническим». Мы не видим в этом никакого противоречия возможности и факту настоящей и грядущей культурной своебытности России. Ведь для тех, кто не принадлежит к числу последователей исторического материализма, культура не есть «надстройка» над экономической базой.

Исторического индивидуализма мы не сочетаем с экономическим коллективизмом, как это бывало в прошлом в иных течениях русской мысли (Герцен), но утверждаем творческое значение самодержавной личности также и в области хозяйственной, чем, как нам кажется, становимся на точку зрения последовательного индивидуализма (...)

Мы не отказываемся определить, хотя бы для самих себя, содержание той правды, которую Россия, по нашему мнению, раскрывает своей революцией. Эта правда есть: отвержение социализма и утверждение Церкви.

Мы не имеем других слов, кроме слов ужаса и отвращения, для того, чтобы охарактеризовать бесчеловечность и мерзость большевизма. Но мы признаем, что только благодаря бесстрашно поставленному большевиками вопросу о самой сущности существующего, благодаря их дерзанию по размаху, неслыханному в истории, выяснилось и установилось то, что в любом случае данное время оставалось бы неясным и вводило бы в соблазн: выяснилось материальное и духовное убожество, отвратность социализма, спасающая сила Религии. В исторических сбываниях социализм приходит к отрицанию самого себя и в нем самом становится на очередь жизненное преодоление социализма.

Мы знаем, что эпохи вулканических сдвигов, эпохи обнажения таинственных, черных глубин хаоса суть в то же время эпохи ясности и озарения. Смирясь перед революцией как перед стихией, катастрофой, прощая все бедствия разгула ее неудержимых сил, мы проклинаем лишь сознательно злую ее волю, дерзновенно и кощунственно восставшую на Бога и Церковь. Только всенародным покаянием может быть замолено греховное безумие восстания. Мы чувствуем, что тайна вдохновенной эпохи нашей не только в безбрежном разливе мистических ощущений, но и в строгих формах Церковной жизни. Вместе с огромным большинством русских людей мы видим, как Церковь оживает в новой силе Благодати, вновь обретает пророческий язык мудрости и откровения. «Эпоха жизни» снова сменяется «эпохой веры», не в смысле уничтожения науки, но в смысле признания бессилия и кощунственности попыток разрешить глупыми средствами основные, конечные проблемы существования.

В делах мирских настроение наше есть настроение национализма. Но его мы не хотим заключить в узких рамках национального шовинизма. Более того, мы думаем, что стихийный и творческий национализм российский, по самой природе своей, расторгает и разрывает стеснительные для него рамки «национализмов» западноевропейского масштаба, что даже в этническом смысле он плещет так же широко, как широко расплескались по лицу земному леса и степи России. В этом смысле мы опять-таки примыкаем к «славянофильству», которое говорило не только о русском народе, но о «славянстве». Правда, перед судом действительности понятие «славянства», как нам кажется, не оправдало тех надежд, которые возлагало на него славянофильство. И свой национализм мы обращаем, как к субъекту, не только к «славянам», но к целому кругу народов «евразийского» мира, между которыми народ российский занимает срединное положение (...)

Русские люди и люди народов «Российского мира» не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся признать себя — евразийцами.

ГЕОРГИЙ ВЕРНАДСКИЙ

НАЧЕРТАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ*

Русский народ и его место в истории

Творец русской истории — русский народ. Развитие русского народа в последовательной поступи времен и есть собственно предмет русской истории.

Русский народ рос и развивался не в безвоздушном пространстве, а в определенной среде и на определенном месте.

Если посмотреть на этнографическую карту расселения русского племени к началу XX века, мы увидим, что к этому времени рамки расселения русского племени почти совпадают с границами русского государства — Российской Империи (...)

Не случайна связь народа с государством, которое этот народ образует, и с пространством, которое он себе усвояет, с его месторазвитием.

Исторический процесс стихиен: в основе своей он приводится в движение глубоко заложенными в нем силами, не зависящими от пожеланий и вкусов отдельных людей (да и сами эти пожелания и вкусы входят в общую экономию исторического процесса).

Жизненная энергия, заложенная в каждой народности, стремится к своему наибольшему проявлению.

Каждая народность оказывает психическое и физическое давление на окружающую этническую и географическую среду.

Создание народом государства и усвоение им территории зависит от силы этого давления и от силы того сопротивления, которое это давление встречает.

Русский народ занял свое место в истории благодаря тому, что оказавшееся им историческое давление было способно освоить это место.

Итак, основные элементы русской истории:

а) Степень давления русской народности на окружающую среду;

б) Степень сопротивления, которая была противопоставлена окружающей средой.

Нужно, следовательно, принимать во внимание не только внутреннее развитие самой русской народности, но также и внешнюю историческую среду (географическую, этническую, хозяйственную и пр.), где происходило развитие этой народности.

Географические рамки развития русской народности чрезвычайно широки. Эти рамки гораздо шире того, что называется «Европейской Россией». Понятие «Европейской России» есть искусственно созданное в XVIII—XIX вв. в европейской и русской исторической и географической науке понятие.

Понятие «Европейской России» ни в один исторический момент не соответствовало действительному распространению русского племени.

«Россия» в смысле территории русского племени никогда не совпадала с рамками «Европейской России».

Наше историческое сознание свыклось с мыслью, что территория «Европейской России» как бы самой природой (равнина в естественных границах) предназначена была для образования единого государства. Мысль эта, однако, в корне ошибочна уже потому, что «Европейская Россия» естественных границ к востоку не имеет: географический характер «Европейской» и сопредельной «Азиатской» России один и тот же. По сю и по ту сторону Камня («Уральского хребта») те же горизонтальные почвенно-ботанические зоны: тундра, лес, степь.

Урал «благодаря своим географическим и геологическим особенностям, не только не разъединяет, а, наоборот, теснейшим образом связывает» Доуральскую и Зауральскую Россию.



* Извлечение из работы «Начертание русской истории».



Г.В. ВЕРНАДСКИЙ

Нет «естественных границ» между «европейской» и «азиатской». Есть только одна Россия «евразийская» или Россия — Евразия.

Евразия и представляет собою ту наделенную естественными границами географическую область, которую в стихийном историческом процессе суждено было усвоить русскому народу.

(...) Русский народ выступает в истории Евразии преимущественным носителем земледельческой культуры. Не надо забывать, однако, что хозяйственно освоить территорию Евразии русский народ мог лишь потому, что наряду с земледелием он всегда занимался посредничеством между лесными промыслами и степным скотоводством.

Русский народ — не только народ-пахарь, он также лесопромышленник и скотовод, и народ — посредник между разными хозяйственно-природными областями, народ-торговец (...)

Именно вследствие этой торговой роли русского народа в его исторической жизни такое значение имели торговые пути, и прежде всего, естественные пути, объединяющие лес и степь, т. е. великие реки с их притоками: Волга, Днепр, а впоследствии также Обь с Иртышом, Енисей, Лена, Амур и др.

Географические особенности Евразии во многом предопределили ход исторического развития русского народа.

История России и история Евразии

В течение длинного ряда веков русский народ стремился освоить себе все пространство Евразии.

От Карпатско-Черноморского (крайнего западного) угла Евразии русский народ стихийно стремился на восток, против солнца. В середине XVII в. поток русской колонизации дошел до Тихого океана, а в середине XIX в.— до Тянь-Шаня. В этом движении русский народ обнаружил удивительную настойчивость, упорство и твердость.

Глубока основа побуждений, вызвавших непрерывное поступательное движение русского племени на восток. Это не «империализм» и не следствие мелкого политического честолюбия отдельных русских государственных деятелей. Это — неустранимая внутренняя логика «месторазвития».

История русского народа с этой точки зрения есть история постепенного освоения Евразии русским народом. История России должна быть рассматриваема в свете истории Евразии, и только под этим углом зрения может быть должным образом понято все своеобразие русского исторического процесса(...)

Монголы и Византия в русской истории

Русский народ получил два богатых исторических наследства — монгольское и византийское. Монгольское наследство — евразийское государство. Византийское наследство — православная государственность.

Оба начала тесно слились между собой в историческом развитии русского народа. Но распутывая нити этого развития, необходимо помнить о присутствии обоих начал и замечать влияние того и другого. Отчасти соотношение между влиянием монгольским и византийским в русской истории есть соотношение между порядком факта и порядком идеи.

Монгольское наследство облегчило русскому народу создание плоти евразийского государства.

Византийское наследство вооружило русский народ нужным для создания мировой державы строем идей.

Внутренний строй евразийского государства

Государства, охватывавшие собой сколько-нибудь значительные пространства Евразии, имеют общие черты внутреннего политического строя. Освоение больших пространств, при том пространств степных или лесостепных, требует крепкой государственной организации, сильной и жесткой правительственной власти. Только исключительно крепкая государственность в течение веков могла держаться в Евразии на сколько-нибудь значительном ее пространстве.

На почве Евразии вырастала, правда, государственность также и иного типа. Во многих княжествах Древней Руси утвердилась вечевая форма правления. Как только вечевое государство разрасталось, вече оказывалось неспособным приноровиться к новым условиям(...)

В таких случаях или из этого государства выделялись самостоятельные вечевые единицы (Псков, Вятка из Новгорода), или вече оставалось на верхушке государства, а для низов государства входили в силу иные, более строгие формы подчинения и властвования (Север — колониальная империя того же Новгорода).

Своеобразным аналогом веча были позднейшие формы казачьего круга. Но казачий круг держался в ограниченных пространственных рамках, и попытки распространения власти круга в общерусском масштабе оканчивались неудачей (Смутное время, разиновщина).

Устойчивая евразийская форма государства и власти — форма военной империи. Таковы были державы скифская, гуннская, монгольская, таково Московское царство и всероссийская империя.

Крепка и жизненна евразийская держава оказывалась, однако, только тогда, когда правящая верхушка не отрывалась от народной массы, и внутренние подпочвенные воды питали власть.

С внутренней стороны для этого требовалось прежде всего наличие единого и целостного миросозерцания. Таким целостным мировоззрением было проникнуто монгольское общество, таким мировоззрением было проникнуто и московское общество XIV—XVII вв.

С внешней стороны той же цели служила достаточно гибкая социально-государственная организация.

Организация евразийского государства — в соответствии с пространственными его размерами — тесно связана с военной организацией.

Организация армии обращается в глубокую социальную проблему; изменение форм военной организации часто совпадает с социальными сдвигами (опричнина, дворянство, военные поселения, военный коммунизм).

Духовная основа истории русского народа

Легко смешиваясь с окружающими племенами, легко усвояя себе новые земельные пространства, русский народ всегда сохранял, однако, своеобразие своей внутренней духовной жизни.

Рамки этой духовной жизни долгое время были религиозно-церковными рамками. Решающим событием было здесь принятие православия от Византии в IX веке(...)

Исторической чертой русского православия являлось его обособление не только от магометанства и буддизма, но и от латинства. Эта черта приводила к тому, что русский человек в течение многих веков чувствовал себя одинаково далеко и от мусульманина, и от латинянина, следственно, не видел между тем и другим почти никакой разницы (что, с другой стороны, позволяло русскому человеку не более нетерпимо относиться к Востоку, чем к Западу).

Внутренняя духовно-религиозная цельность русского народа потерпела тяжкий удар в середине XVII века — раскол старообрядчества.

Давши трещину, религиозное сознание русского народа, тем не менее, могло устоять против напора западных идей, подтачивавших духовную сердцевину русского народа, начиная с XVIII века в виде протестантизма и протестантских сект, деятельности иезуитов, масонов, а позже и прямой пропаганды атеизма.

Кризис духовно-религиозной жизни русского народа достиг высшего напряжения в XX веке. Всякий кризис может закончиться или смертью, или возрождением.

Б. ПРЯНИШНИКОВ

А. Н. ТОЛСТОЙ В БАРВИХЕ



О писателе Алексее Николаевиче Толстом в эмигрантских журналах и газетах написано немало. Признавали его большой талант, но не прощали ему советской Каноссы. Может быть, в душе он и сам себе не прощал, но это — его тайна.

Малая Советская Энциклопедия называет его «русским советским писателем» и отмечает, что Октябрьскую революцию Толстой «сначала принял враждебно. В 1918—23 был в эмиграции. По возвращении в СССР принял активное участие в строительстве социалистической культуры».

Возражать не приходится. Вопреки внутренним убеждениям А. Толстой пошел на компромисс с советской властью и в рядах советских писателей занял одно из виднейших мест. Художник слова, одаренный, трудолюбивый и влюбленный в свое писательское ремесло, он и под сенью серпа и молота писал в основном хорошо, хотя и должен был приспособляться к эпохе «великого Сталина».

О Толстом как человеке и писателе я узнал многое из рассказов моей жены Ксении Николаевны, урожденной Бонафеде.

В марте 1928 г. Ксению уволили со службы, несколько месяцев она была безработной, а затем ее приняли на работу в ленинградский госстройтрест № 4. Начальство в бухгалтерии было из «бывших людей», работалось легко и даже приятно. Под шумок рассказывали антисоветские анекдоты и не чуяли приближения грозы. После «великого перелома» 1928 г. обстановка резко изменилась в худшую сторону. Начались притеснения, угрозы, репрессии.

В ту пору моя будущая жена была очень дружна с Милей Крестинской — Людмилой Ильиничной. Впоследствии эта дружба оказалась полезной, когда с матерью моей жены, Ларисой Ивановной, стряслась беда.

Вернувшись в СССР, Алексей Толстой жил одно время в Царском Селе. Какой-то головотяп из новых власть имущих решил изменить «идеологически чуждое» название Царского и придумал ему новое — Детское Село. Дети, разумеется, к этому идиотскому названию никакого отношения не имели. Позже, в 1937 г., Детское Село было переименовано в город Пушкин.

В Царском Толстой жил в удобной квартире. Царское с его дворцами и парками располагало к творчеству, и тут писатель плодотворно работал. Здесь в 1929 г. он начал писать «Петра Первого».

Толстой был тогда женат на Наталье Васильевне Крандиевской, писавшей хорошие стихи. В Царском Толстому понадобилась секретарша, и Крандиевская нашла подходящую кандидатуру в лице Мили Крестинской.

Миля была молода, красива, привлекательна и добра. К своим секретарским обязанностям она относилась с должным усердием и никаких видов на Толстого не имела. Зато на нее имел виды Алексей Николаевич. Как-то раз, собираясь на отдых в Сочи, он предложил Миле поехать вместе. Смущенная Миля наотрез отказалась. Толстой был озадачен, но не настаивал. Потом подумал немного и перед самым отъездом вручил Миле запечатанный конверт. Миля вскрыла конверт, в нем оказалась фотография Толстого с предложением руки и сердца: «Людмила, будьте моей женой». Размышляла Миля недолго и согласилась. Случилось это летом 1935 г. И в августе того же года, оплакивая двадцатилетнюю любовь в трогательном до слез стихотворении, 47-летняя Крандиевская рассталась с изменившим ей мужем. К ее страданиям Толстой отнесся невозмутимо спокойно. А Милю он буквально боготворил, баловал ее, исполнял все ее желания.

В один прекрасный день «великий Сталин» выразил пожелание — жить Алексею Толстому в Москве. Толстые переехали в Москву, им отвели комфортабельную квартиру недалеко от Александровского вокзала, переименованного большевиками в Белорусский.

Но для творчества это место Толстому не подходило. Похлопотав где нужно, он получил в свое распоряжение дачу в Барвихе, ставшей из прежнего скромного села местом отдыха для представителей «нового класса». Толстые поселились на даче, которую раньше занимал вычищенный из партии бывший наркомзем Чернов. Квартиру в Москве Толстой сохранил за собой. Хотя в компартию он не вступил, Сталин облагодетельствовал его званием депутата Верховного Совета СССР, когда над страной взошло «солнце сталинской конституции». Московская квартира стала приемной депутата Толстого. Обычно в ней сидела секретарша, а Толстые останавливались, когда приезжали из Барвихи в Москву.

«Когда мы убили Кирова, нас и многих других выслали из Ленинграда». Так иронически говорила моя жена, вспоминая те трудные дни, когда «бывших людей» выслали из Питера. Пройдя через унизительные допросы и издевательства в органах НКВД, Лариса Ивановна и Ксения избрали местом ссылки Пермь. Распродав за бесценок остатки своих хороших вещей, в апреле 1935 г. они прибыли поездом в Пермь. Здесь в транспортном отделе НКВД они узнали, что Пермь — «город режимный», стало быть, для «врагов народа» неподходящий. Ксения бегала из одного учреждения в другое, и всюду ей говорили: «Уезжайте отсюда поскорее». Но куда ехать? Посоветовались и решили поселиться в Орле.

Близость Орла к Москве давала Ксении возможность изредка бывать в Барвихе у Толстых. Там ее принимали радушно, предоставляли ей комнату наверху дачи, где жила теща Толстого, Полина Дмитриевна.

Тещу свою Толстой не любил и чувств своих не скрывал:

— Знаете, Полина Дмитриевна, я вас не люблю. Но бесконечно вам благодарен за то, что вы родили мне Людмилу.

Ксения пользовалась расположением Полины Дмитриевны, но многое о жизни Толстых узнавала и от Мили.

А. Толстой был и остался барином, привыкшим жить удобно и на широкую ногу. Зарабатывал он хорошо и не скупился на приобретение красивой обстановки для своей дачи. Его стиль был — старинная мебель красного дерева или дубовая и особенно чиппендейл. Столовая выглядела шикарно — красивое дерево, если нужно было, подправленное краснодеревщиком, роскошная люстра над столом, буфет, ломящийся от хрусталя, отечественного и розенталевского фарфора, множества изящных вещиц, купленных в комиссионных магазинах. Все это со вкусом и пониманием толка в вещах.

По соседству со столовой — ценная библиотека, в ней было много редких и дорогих книг. Конечно, и книжные шкафы были красивыми и солидными. Тут Толстой в кругу семьи и друзей читал отрывки из новых произведений. Читать он любил и читал мастерски.

Над столовой был расположен его рабочий кабинет. Обычно свою работу Толстой начинал, стоя за откуда-то добытой редкостной конторкой «Louis XV». Сперва обдумывал очередную главу, делал заметки, а затем усаживался за просторный письменный стол и начинал печатать на пишущей машинке. Закончив печатание обдуманного, опять переходил к конторке, задумывался, набрасывал очередные заметки и возвращался к пишущей машинке. Тревожить его в эти часы не полагалось, писал он, словно священнодействовал.

Здесь он закончил трилогию «Хождение по мукам», здесь же продолжал писать исторический роман «Петр Первый», писал и другие произведения. На «Петра» он затратил много времени, изучая большое количество архивных материалов и документов, охотно ему предоставляемых. «Петр» давался ему нелегко, ведь это была не только другая эпоха, но приходилось учитывать и современную жизнь со всеми ее подводными камнями.

В декабре 1939 г. Совнарком принял постановление о присуждении Сталинских премий, в том числе и по художественной литературе. Когда по радио диктор оглашал имена лауреатов, Толстые с замиранием сердца ожидали, будет ли премия Алексею Николаевичу? Список был длинный, а имени Толстого все никак не называли. И вдруг диктор возвестил о присуждении Толстому Сталинской премии первой степени — 200 тысяч рублей — за роман «Петр Первый», тогда еще далеко не законченный.

Радости и восторги было трудно описать: премия подоспела вовремя: в эти дни Толстой настолько издержался, что вынужден был занять деньги у Полины Дмитриевны и даже у кухарки Паши. В безденежье его вогнала поездка в 1940 г. в «освобожденный» Львов. Там он накупил множество разных вещей, истратив десятки тысяч рублей на серебро, дорогие вина, роскошные скатерти и салфетки с монограммами.

Рассматривая скатерти, Полина Дмитриевна обратила внимание Толстого на чужие инициалы. Зять возразил:

— Ведь не в инициалах дело, а в короне. Корона-то графская!

В Барвихе жилось удобно и привольно. В распоряжении Толстых были кухарка Паша, горничная Лена, шофер и садовник. В гараже стояли два автомобиля — роскошный «студебеккер» и сравнительно скромный «форд». Миля предпочитала «студебеккер», «форд» же служил больше для хозяйственных надобностей. К своей прислуге Толстые относились хорошо, прислуга тоже была ими очень довольна и любила их.

Наезжая в Барвиху, Ксения рассказывала о том, как тяжело живется в провинции. За хлебом очереди, колхозники покупают хлеб в городе, жителям городов все время чего-то не хватает. Кухарка Паша удивлялась:

— Да как же это так. Вот Алексей Николаевич недавно говорил, что у них в Верховном Совете хотят провести закон о бесплатной раздаче хлеба населению.

Когда Ксения рассказывала Толстому о действительном положении вещей в провинции, он тоже слушал ее с оттенком недоверия.

Паша закупала продовольствие в закрытом распределителе. Обычно находилось все, нужное для стола Толстых. Хотя все же однажды Паше пришлось делить курицу пополам с другой претенденткой. Но это — случай исключительный. Как правило, на столе Толстых бывало все, что заказывали Миля и Полина Дмитриевна.

Советскую пропаганду Толстой не любил. Как-то раз, когда диктор разглагольствовал о прелестях марксизма, Толстой раздраженно сказал:

— Ксения, заткните им глотку! Выключите радио, они мне надоели своей трескотней!

Жизнь Толстых протекала в окружении складывавшегося тогда «нового класса». Как-то на одном приеме Толстые встретились с Н. Н. Крестинским, большевиком и бывшим полпредом в Берлине. Толстой представил ему Милю и сказал:

— Это ваша родственница, урожденная Крестинская, дочь полковника.

— Да, как будто был у нас в роду такой полковничек.

— Поосторожней,— вспыхнула Миля,— вы говори-

те о моем отце, он был полковником гвардии!

Крестинский слегка смутился.

Толстые дружили с маршалом Тухачевским и даже с Ягодой. Невестка Максима Горького, красавица Тимоша, была любовницей Ягоды, а ее муж Макс больше пьянствовал и почти не вылезал из автомобиля. Поначалу связь Ягоды с Тимошей скрывалась, но после смерти Макса они ее уже не маскировали. Тимоша прекрасно одевалась, за ее туалетами следили московские модницы. Хорошо одевалась и Миля, на ее наряды Толстой денег не жалел.

Когда в опалу попали Тухачевский и Ягода, Толстой был, естественно, встревожен. Но «черный ворон» за ним не приехал. Видимо, у Сталина он был на особом счету.

После ареста Ягоды насмерть перепуганная Тимоша приехала к Толстым со своими страхами. Толстой ее успокоил:

— Не волнуйтесь, милая Тимоша, помните, что вы мать внучек Горького. С вами ничего не случится.

И действительно, Тимоша не пострадала, разве что у нее отобрали Горки, где жил Ленин, а затем, после своего возвращения в СССР, ее свекор, Максим Горький. В Москве Тимоша жила в просторном особняке, ранее принадлежавшем Рябушинскому. Здесь она растила дочерей, дала им прекрасное образование, ее дочери жили как принцессы.

Толстые нередко бывали в Большом Кремлевском дворце на приемах, устраивавшихся Сталиным. Были и на приеме дипломатического корпуса, когда Сталин затеял дружбу с Гитлером. В угоду Гитлеру еврей М. М. Литвинов был вынужден уступить свой пост В. М. Молотову. У Толстых сложилось впечатление, что своей новой роли Молотов стеснялся. И неудивительно: такой крутой поворот во внешней политике озадачил не только иностранных дипломатов, был озадачен и сам новый нарком иностранных дел.

Были Толстые у Сталина и на новогодней елке. Ужин был сервирован в двух залах. В большом, за маленькими столиками, разместились гости, рядом, в меньшем — Сталин и его ближайшие сотрудники по Политбюро.

За столиком Толстых сидели артист Малого театра Пров Садовский, его жена, Тимоша, вдова Макса Пешкова. Столики были великолепно сервированы, ужин вышел на славу. Толстой, в прекрасном расположении духа, громко говорил Садовскому:

— Вы — настоящий Фамусов, не то что в Художественном театре!

— Послушай, Алеша, не так громко, у нас соседи из Художественного театра,— шепнула Миля.

— Ну и пусть слушают! — не унимался Толстой.

В обиде на Станиславского и Немировича-Данченко Толстой был с давних пор, еще до революции, когда, несмотря на настояния Саввы Морозова и Мамонтова, руководители МХТ'а не приняли к постановке его пьесы.

Разъезжались по домам, довольные приемом и ужином. Перед уходом Садовский до отказа набил карманы апельсинами и мандаринами для своих детей — в Москве фрукты были «дефицитом».

Толстой любил Париж. В 1938 году он приехал в Париж с Милей. Миля хотела осмотреть все и вся, но муж возражал:

— Знаешь, приезжают туристы и сразу же хватаются за бедекер. А я, попадая в этот чудесный город, не спешу. Я просто начинаю жить, ибо жить в Париже прекрасно. Я не чувствую себя здесь туристом.

К эмиграции Толстой относился отрицательно. Об эмиграции он написал не очень удачную повесть «Черное золото», нечто вроде пасквиля. Позже повесть вышла в новом издании «Эмигранты». Характерно, что сам Толстой, даря книгу со своей надписью Эренбургу, отозвался о ней, как о «глубоко несовершенной и приблизительной повести».

К большинству советских писателей Толстой относился с явным пренебрежением. Он находил их писания просто безграмотными и скучными, не раз говорил, что они по-настоящему не владеют русским литературным языком.

Толстой был в хороших отношениях с Горьким, но особенно дружил с К. Фединым. Встречался с В. Лидиным. Признавал Илью Эренбурга, но, пожалуй, Эренбург ценил Толстого больше, чем его — Толстой.

Особым почетом и любовью пользовался у А. Н. Лев Толстой. Однажды по московскому радио передавали записи, наговоренные автором «Войны и мира». Алексей Николаевич внимательно вслушивался в речь Льва Толстого. Когда передача кончилась, он с восторгом сказал Миле и Полине Дмитриевне:

— Вот это настоящий русский язык, советский ему не чета!

6 августа 1937 г. энкаведисты арестовали Ларису Ивановну и посадили ее в знаменитый орловский «Централ». В свободные от службы часы Ксения ходила к тюрьме, пытаясь узнать о судьбе матери. Трудно было и с передачами. Иной раз их не принимали совсем, а когда принимали, то бесцеремонно перетряхивали пакет, ища запретные записки или выбрасывая неразрешенные предметы. Ксения не могла узнать, находится ли ее мать все еще в тюрьме или ее уже отправили в лагерь.

Ксения сообщила Миле Толстой об аресте Ларисы Ивановны. Миля горячо сочувствовала Ксении и помогала ей, чем могла.

Сидение Ларисы Ивановны в тюрьме затянулось на несколько месяцев. За все это время ей не разрешили хотя бы раз повидаться с дочерью. Ксения питалась слухами. И вот прошел слух, что арестованных «бывших» высылают на восток, в лагерь. Ксения стала наведываться на вокзал. Однажды утром, в лютый январский мороз 1938 г., она увидела в стороне от вокзала, на запасном пути, длинный товарный состав. Высылаемых погрузили еще ночью, вдоль состава протянулась цепь вооруженных охранников, не подпускавших огромную толпу провожавших к вагонам.

Кто-то сказал Ксении, что ее мать видели в одном из вагонов. Она подошла к указанному вагону и обратилась к охраннику с просьбой, нельзя ли узнать, тут ли находится Лариса Ивановна Бонафеде. Охранник мрачно посмотрел на нее и ответил, что разговаривать с высылаемыми запрещено. Плачущая Ксения продолжала настаивать. Тогда охранник наставил на нее штык и спросил:

— Вы что, гражданочка, тоже сюда захотели?

Через несколько дней кто-то подбросил Ксении коротку записку от матери, которую та выбросила на ходу поезда с адресом дочери. Теперь Ксения уже наверняка знала, что ее мать выслана из Орла.

Ксения сохранила и вывезла за границу 16 писем и открыток, посланных Ларисой Ивановной из женского концлагеря на Северном Урале, недалеко от захолустной станции Сама Свердловской области.

В письмах Ларисы Ивановны столько материнской трогательной нежности и заботы, что без волнения их читать невозможно. И почти в каждом письме или открытке Лариса Ивановна с благодарностью упоминает о посылках и деньгах, посылавшихся ей Милей Толстой и ее матерью, Полиной Дмитриевной. Ксения мне говорила:

— Подумай только, на обратном адресе посылок было написано: «От депутата Верховного Совета СССР А. Н. Толстого»! Ведь тогда это было небезопасно. Но на станции Сама и в самом концлагере этот обратный адрес, видимо, производил впечатление, почти все посылки доходили.

ВАЛЕНТИНА ВЕРСТОВА

КОЛОГРИВСКИЙ ПРОВИДЕЦ



В свое время, убоясь «падения нравов, грабежей и разора имению», местные купцы откупились от изыскателей, и те провели железную дорогу в 80 верстах от Кологрива. Под тяжестью несущихся по реке бревен притихла, а потом и вовсе обмелела полноводная когда-то Унжа. Весной и осенью, когда проезд по размытым дорогам становится невозможным, путь в город перекрывал шлагбаум. Так в стороне от больших дорог и «свершений» остались старые крестьянские фамилии: Арсеньевы, Смирновы, Жоховы, Аржанцевы, Ивановы, Разговоровы.

Остались коротать век в похожих друг на друга своей убогостью, вымирающих деревеньках. Последняя война так прямо не коснулась этих мест — не дошел немец. Но памятки вселенского разрушения, небрежения к родовым обычаям по сию пору бередят душу каждому, не совсем еще потерявшему совесть.

К пятидесятым годам, когда я впервые приехала к бабушке, из последних сил держались еще Вокшево, Ифтино, Урма. В покосившихся домах с жалким скарбом теплились лампадки. За божницами хозяева бережно хранили затертые тетрадки с корявыми палочками, отмечавшими трудодни, начисленные за каторжный труд. Мои тетки и их соседки едва доползали с общественного поля, чтобы обиходить домашний огород и кормилицу-корову. А потом замертво валились на брошенный на пол ватник, чтобы засветло снова отправиться на колхозную барщину. Так, в трудах да заботах, и состарились...

Хорошо помню, как на вечерних старушечьих посиделках рассказывалось много интересного и про то, как в крепостные еще времена дети нашей прародительницы, дожившей до 114 лет, Татьяны Екимовны получили фамилию Девины, поскольку прижиты были от помещика незамужней девушкой. От нее и пошла вся деревня Дружинино.

Бабушка Елена, славившаяся искусством лечения травами, заговорами, вправлявшая грыжи и вывихи, с баночкой родниковой наговоренной воды, отлучалась за перегородку. Слышался шепот: «Господи милостивый, спаси рабу Божью и защити от болести, страсти и горести». Шепотом же, ужасаясь непомерной храбрости жившего за рекой старика, рассказывали, что не побоялся он самому Ленину написать — обманул ты, дескать, русского мужика.

Говорили, мудрый этот человек предсказывает будущее, верили в его «ведовской» дар. Вспоминали, как во время последней войны собрались они к Ефиму испросить судьбу воевавших сынов и мужей. На полке в его доме стояли в ряд глиняные фигурки. Подошел он к ним молча, тронул палочкой... и повалились они все. Только одна, самая

маленькая и устояла. Горькое это предсказание, к несчастью всеобщему, сбылось. Из всей деревни только и уцелел один мужик — Паша Горбатый.

Тогда девчонкой восприняла я этот случай как знак таинственной, почти колдовской способности необыкновенного человека. Через много лет, вернувшись в эти места и прочтя с сотрудницей краеведческого музея Г. Воробьевой чудом оказавшиеся в моих руках Ефимовы дневники, я утвердилась не в мистической его силе, а в редком даре социального прозрения. Этим загадочным человеком был народный художник Ефим Васильевич Честняков.

Думаю, что записки, которые мы предлагаем вашему вниманию, убедят и вас, как далеко и верно видел этот мудрец.

Сам Честняков не только разделил тяжкую судьбу своих земляков, но старался как мог скрасить убогое их существование. Новая жизнь, о которой мечталось на заре революции, оказалась лишь обманом, иллюзией, жизнью, лишенной веками слагавшихся нравственных традиций, добра и духовности.

В уездном Кологриве до революции был свой прекрасный театр, замечательные учителя. Приняв революцию, уездная интеллигенция стремилась сохранить духовные ценности. Сберечь библиотеки, картины, архивы из разграбленных местных имений «короля русской акварели» Ладыженского, Катенина.

С болью видели они, как нарождающаяся пролетарская культура пытается подмять, подчинить своим законам наследие прошлого, духовные самобытные устремления людей.

В архивах здешнего кологривского музея сохранилось выступление юного красного комиссара Федора Чумбарова-Лучинского, где он провозгласил кредо пролеткульта, надолго определившее культурную политику: «В наше время переустройства нужно строго смотреть за направлением деятельности, самобытное народное творчество соединить с политическими заданиями трудового народа».

Но тогда, в двадцатые годы, за кологривскую интеллигенцию комиссары по-настоящему браться еще не решались. Зато в тридцатых всех замечательных учителей и врачей для повышения пролетарского самосознания отправили на лесоповал.

— Из нас, сорока двух человек, вернулось только четверо. Погибли на каторге два моих брата. А ведь отец наш был первым председателем комитета бедноты, — вспоминает бывшая учительница А. Незнаева.

Сестру Ефима Честнякова постигла такая же судьба. И сам он тянулся душой к людям, прошедшим этот крестный путь.

— Заходил Ефим ко мне каждый раз, как бывал в городе, — вспоминала А. Незнаева. — Я, как могла, подкармливала его, он уж совсем обнищал. Сварю толокна — поест немножко. Очень за сестру переживал...

В семидесятые годы, когда имя Честнякова-художника неожиданно и счастливо воскресло, я по долгу землячества и памяти решила отыскать то, что могло затеряться или исчезнуть. Мои тетки подсказали адреса. По зимнему снегу, в санях, взяв в помощники завотделом культуры исполкома и милиционера Колю, приехала в деревню Шаблово, так знакомую мне по картинам Честнякова. Тем же запустением встретили нас высокие северные избы, в которых хозяйствовали одинокие старухи. С чердаков, из сундуков доставали они картины, писанные земляком. Мы привезли их в музей и тут же вписали в музейный реестр. Среди работ была одна особая, попавшая позже на выставку в Париж. Назвали ее, кажется, «Девочка в голубом». Несколько работ сразу же взяли на реставрацию.

В холщовой сумке у одной из подружек моей тетки нашлись дневники художника. Их я тоже передала в музей. Галина Ивановна Воробьева расшифровала их. Копии прислала мне, а оригиналы остались в кологривском музее. Сегодня мы и предлагаем вашему вниманию отрывки из этих, неизвестных пока широкой публике дневников, а также не воспроизводившиеся еще работы Ефима Честнякова. Жаль, что пока нет возможности рассказать, кто из односельчан художника изображен на них...



КРАСОТА, РАСПЯТАЯ НА КРЕСТЕ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА

1920-е ГОДЫ

Что явно неладно со стороны Советов, которые налегают на эксплуатацию, сказывают себя эксплуататорами и пособниками. Как они поют — до «основания разнесем...» Невежество, завистливость, форс, обижают словом и делом: здоровый — немощного, молодой — старого, кривой — слепого, живой — мертвого... И налогами задавили немощных; выходит фактически так, что с мертвых берут безобразные налоги, а здоровым и сильным — льготы... Толпа издевается над разумом личности и топчет благородные начинания: весь закон — едоки, кулак и брюхо... Разбирайтесь сами по местам.

Вот у Ивана (50 лет) и Матрены три сына — всего пять едоков. Двоих женили — у одной молодицы двое детей, другая — бездетная. Всего 9 едоков (семь работннков, двое неработн.).

У Фетиста было восемь едоков: сын со снохой, у них трое детей. Сына убили на войне. Сын и сноха умерли и оставили троих внучат. Теперь у них пять едоков, но как было жить легче и привольнее, когда было восемь... потому что четыре работника. Теперь же работников в семействе остался один — Фетист 70-ти лет... Работать некому, а налог подесятинный прибавился. Это и есть — берут за троих мертвых.

Ивану и Матрене жить стало легче. когда они женили двух сыновей,— работников прибавилось, а налогу (потому) сбавилось.

Если бы случилось так, что и у них умерли сыновья и снохи, то за мертвых налогу прибавили бы.

Выходит обратно: чем труднее, слабее семейство, тем большим налогом обременяют каждого «едока»...

Ошибка тут та, что землю считают как бы за готовый сусек хлеба, а людей — бездельниками, именно только едоками, а не работниками...

Как будто, где земля, там не работы, а только едоки и хлеб. Тут ясно, конечно,— на сотню едоков нужен сусек в тысячу пудов, а на одного — в десять пудов... Но ежели хлеб нужно наработать, то один человек, как бы ни надрывался, не может наработать против сотни...

Кто меньше всех нарабатывает и кому труднее всех? И кто платит больше всех налога? Которые убогие, вдовы, сироты, старые и малые? Да почему это? Разве у них какие богатства? А вот глядите: в деревне у кого самые ветхие дома? Тех всех больше и задавили... Ведь у них нет лишней земли... Ежели кому нужна земля, то нужно им нарезывать земли. Земля не разработана, находится в хаотическом порядке на 10 тысяч верст до Беринга пролива. И молодые притесняют стариков и говорят: выезжайте, ломайте ваши старые гнезда, а то все разрабатывают, а мы садимся на ваши части.

И яростно, открыто поют сей злой разбойничий гимн, как будто с кровью корыто иметь и видеть нужно им.

Никто не даст нам разгромленья —
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся сами разграбленья
Своею собственной рукой...

Так и делается... Если и напишут противопредписание, то только на бумаге. И только налоги с немощных выбивают ружьем.

РАЗГОВОР С МАЛЬЧИКОМ

— Здравствуй, мальчик.

— Здорово, добрый человек.

— Али пахать учишься?

— Да я уже умею. Все поле взорал. Одна эта полоса осталась.

— Сколько тебе лет?

— Одиннадцатый год.

— А где твои отец и мать?

— Мамка умерла и тятька умер.

— А кто теперича дома?

— Бабушка да брат и сестра...

— Больше никого нет в семействе?

— Больше никого: четыре всех.

— А много ли земли?

— Да две души: дедушкова ревизская и тятенькина ревизская — нам с братом по душе. Только и дедушка и тятенька умерли, нас тоже два мужика: я да брат.

— Сколько лет брату?

— Фильке-то? Восемь годов.

— А сестре?

— Пять годов.

— А бабушке?

— Бабушка уже стара: около 80-ти годов.

— Много ли скотины?

— Две коровы, лошадь, две овцы, семь куриц, восьмой петух... и кот.

— Вам трудно обрабатывать?

— Так трудно — не знаем куда деваться: бабушка измучилась и мы тоже. Чужих людей приходится прихватывать; берут дорого, едят хлеб. Лонись была работница, наняли уже в петровки, да жнивье и молоченье еще не кончили, отпустили до сроку. Подали все, за что рядилась. Нынче работников нанимать трудно: дорого дать нельзя — налогом хлеб отбирают. Которые малосемейные мужики: безучетную землю сеют, новины рубят. Им выгоднее работать только для себя. без налогу, чем работать у тех, которых облагают большим налогом. Выходит так, что работать меньше, так хлеба больше останется. Наша-то работа на налоги уходит... А почему же мы с бабушкой больше работаем на налог, чем другие семейства? Почему с нас берут больше подесятинный налог, чем с сильных и здоровых? Это

ловко, как бы в лавке: им продают по пятачку за аршин, а с нас — по рублю?

— Говоришь, ныне был у вас червобой? Ну, а в урожайный год сколько бы намолотили?

— Нынче мы намолотили около тридцати пудов, немного буде больше... Налог со страховкой да перевоз и все такое — не меньше тридцати пудов, да работнице восемнадцать пудов. И если бы не заплатила облигацией городская родня, то нам не хватило бы на пропитание...

— Долго ли жила у вас работница?

— Три месяца. А мы с бабушкой работаем весь год и лето и зиму больше работницы, да все в заботе. Мне бабушки жаль: совсем измучилась.

— А летние работы продолжаются сколько месяцев?

— Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь — семь месяцев. Тоже и Рыжко работает, и все рвется, нужно овсом припасаться содержать...

— Работница, выходит, получает пудов около шести в месяц прокормленья? Это немного.

— А налогам то от нее берут и от нас берут... И нам бы с бабушкой хоть пуда по два окромя прокормленья, да Рыжку пудов шесть — пудов десять. Семь летних месяцев: 70 пудов. Да и зиму работаем. И за все ничего не остается ни на одежду, ни на крыши, ни на какое заведение. Все еще старым живем, и все состарилось. И на пропитанье бы не хватило, ежели бы не городовая родня. А у которых нет городовой родни, то как прожить?

Ступай по всей России: кто платит больше всех налогу? Малые семейства, которые больше учтенной земли обрабатывают. Кому всего труднее? Всех труднее этим семействам — главную часть тяжести сильные свалили на слабых.

Чьей кровью искупляются беззакония порочных городов и разбойных войн и самогонщиков по овинам?

Кровью старых и малых, вдов и сирот, хворых и убогих... От чьих ран получают поживу? От ран родной страны в самых больных ее местах. Не задевают сильных. Они не так податливы. Сильные — это союзники. Ставка на сильных, чтобы иметь власть. Так всегда и было на грешной земле.

* * *

Однажды ныне, как бы встарь,
Была завистливая власть,
Она гонила доброту
И не любила красоту.
Что безобразно и грешно,—
В контакте с этой властью шло.
И в моде стал лукавый ум.
А разум изгнан был совсем
Из разговоров и газет,
И люди стали жить без дум.
Как стадо вроде, не глядя,—
И шли, куда погонит власть.
И вожаки с суровым нравом
Одно твердят — во всем, де, правы.
Не чтут евангельского слова,
И басни дедушки Крылова
Не возлюбила эта власть,
И всех, окромь себя, винят.
Их песнь — «Интернационал».
Как встарь, вином спасая мир,
Студенты ржали тот же гимн.
И вожаки примером лично
Зовут народы на грабеж.
И надоели вредным криком,
Что он, де, только и хорош
Для кротких бойкий ямы рой,
Разбойник Разин, де, герой.
И производят всюду взлом:
Ружьем и словом, и колом.
Идите бойкие, де, к нам,
А кротость вовсе не нужна.
Молчит запуганный народ,
Не смеет крикнуть поперек.
Тому и рада бойких власть.
Что есть кого, де, обирать.
И мирным всем в родном дому
Житья нет нынче никому.
И ждет обманутый народ.
Когда, де, разум в быт придет?

* * *

Тверды как сталь и злы как вошь,
Никак их чувство не проймешь,
И что в чужом кармане есть,
Лишь только в том их интерес.
И как мизгири жмут крестьян,
Кладут продукты их в карман.
И нюх собак зовут умом,
И каждый стал у них шпион.
Всех напугали на Руси,
И всех боятся стали все.
У них один лишь красный цвет.
А было в радуге их семь.
И красный вид уж надоел,
Но для других тут места нет.
Все место занял ком ума,
Что из шаблонного дерьма.
И ум в комке забыт...
Теперь совсем без цвета жизнь...

* * *

Политическая агитация похожа монотонной бессодержательностью и злом на собачий лай — и порядочный человек, давным-давно обремененный уже готовыми культурными планами,— будет ли слушать такую для него примитивно дешевую болтовню?

Русские — хвастуны. Я — русский и большой хвастун уже давно, так что никаким хвастовством культурности и общественности меня не удивишь... И сколь бы ни надувались, вижу, что это пустые пузыри, и того гляди лопнут от самолюбивого хвастовства...

Уже двадцать лет назад я говорил народу, что общественное строительство нужно начинать самим... Рассчитывать не следует на готовое, даром вам никто ничего не наработает, но все норовят взять чужого труда больше за свой труд в торговле... Но нынче по примеру городов наши мужики говорят: дайте нам готовых нажитков фабрик и заводов — так и мы бы коммунистами стали за счет чужинки... И в деревнях мы видим «коммунистов» только там, где захватили готовую культуру — экономию с постройками и машинами... Да и так оно идет не в наживку, а в проживку... Города — последователи ложного общественника У...* опорочили слово общественность и коммунизм... Какая ж это общественность и культура, когда разбойника Разина поставили себе в образец, т. е. прямое воровство называют коммунизмом... Сделали хотя бы один кирпич общественно? Что и делается, то все путем найма... за деньги... сплошное насилие над страной. Всех обратили в рабов — возврат к варварским временам крайней централизации владения богатствами...

А периодические съезды холопов для прогулок по столице на готовых обедах... Это имеет только подкрепляющее значение, чтобы одна кучка распоряжалась жизнью всей страны. И где же ей предусмотреть распорядок по 1/6 части света... Даже если бы она имела всё добросовестное доброжелательство — она не может вести одна хозяйство 1/6 части света...

Ну и задыхаются люди... и небывалые распри и озлобление. И если хозяйство совсем не разрушилось, то это потому, что оно еще идет кое-как со всякими препятствиями по старой инерции. А сколько мучений... и описать невозможно... везде и всюду, кроме городов...

Города печатают в газетах, чтобы деревни искали кулаков. В деревне ищут кулаков и не находят. Какие же их признаки? Не работают своими руками, владеют богатством, сдят крупчатые пироги... Ищут в деревне — нет таких — все на ржанине, тощеехоньки от работы и ничего нет, кроме инвентарного хлама... А города не работают своими руками, владеют богатствами всей страны, и каждый день едят крупчатые пироги — там кулаки значит, чуть не все — подходят под эти признаки с великим избытком... И если нужно это слово «кулак», то вместо слова горожане — станем их звать кулаками... Города — это сплошной казенный лес кулаков...— и служащие — советские работники и прочие.

А в деревнях считать кулаками можно разве только тоже советских и других «работников» в кавычках, если у них крупчатое не переводится...

* * *

Когда я вижу, когда во время празднеств или похорон украшают стены гирляндами живых цветов или ветками деревьев лиственных и хвойных (пихту всю погубили), усыпают дорогу ветками пихты и т. п., то мне кажутся нынешние люди похожими на дикарей, которые украшают жилища черепами и отрубленными членами тела себе подобных — руками, ногами... Долго еще ждать доброго от людей пока. Они держат собак как своих друзей и охраннников от себе подобных...

НАШИ РАЗГОВОРЫ

— Добрый ли вечер, дядя Савастьян?

— Добренький, батюшко, каждый вечер по лаптю плету вот. Сижу до петухов. Ну, а ежели бы пролежал на полатях, никакого лаптя бы не дал бы вечер, хоть бы он был таким же добрым, как, примерно, Советы...

— В редакции «Крестьянской правды» говорят, почему не пишем в газету... А недосуг все... Теперь вот попытаюсь что-нибудь, но напишу ли. Какие твои разговоры, дядя Савастьян: что бы такое мне написать-то?

— Савастьяновы разговоры стали не в моде, и в деревне-то давно уж не слушают, а в городской газете — где уж тут нам, старикам. Теперь молодые разговаривают... Ты поученей, ну и пиши.

— А в газетах не переставая печатают, что желают слушать голос самого народа...

— Ну и слушают, а не всех ведь. Народу много, всех не переслушаешь, а каждый по-разному.

— Попытаемся, может, и примут, да и польза какая будет.

— Ежели от разговору да польза, то это бы дело не столь трудное, не дрова рубить.

Оно, конечно: худо ли Совет, и я бы вот вроде член Совета. Только, брат, не рассчитываю, чтобы наш разговор напечатали. Нынче умников много, да такие бойкие, в большие кучи собираются, распевают про разных... Ну, кто посмирнее, тут и не суйся. В куче людно решают, большинством — мы, де, защищаем свои интересы, т.е. выгоды, а ежели это кому не выгодно, то тоже будем в кучи собираться — чья возьмет. Ну, которые посмирнее, так уступают, не могут защищать своих интересов, как вот, к примеру, мы, старики, и недосуг, все на работе, для пропитания семейством, на налог, который с нас эти кучи тащат...

— Но кучи эти учатся политической экономии, чтобы, значит, люди не эксплуатировали друг друга... И без налогу нельзя... государство в таком критическом, тяжелом положении: выходу нет другого... Вот когда оправится государство и налогу убавят, может, и совсем брать не будут...

— Говоришь, государство в трудном положении. Почему же рабочие, невзирая на это, сбавили рабочего дня и прибавили заработную плату, т. е. цены на свои изделия? Теперь и рабочий день 8 часов, а нам, старикам, хоть 28 часов работай в сутки, а все же мы не числимся рабочими и никто не думает убавлять нашей работы. Вот я и говорю, что у машинного станка стоять легче, чем работать руками, работа идет скорее и дешевле. Почему же машинные товары много дороже ручного продукта? Нам же все время говорят, что машина выгоднее, а в действительности как раз обратно, и машина тащит налог от сохи. А и дома бы каменные, и железные дороги. Главная причина, конечно, война, но чтобы восстанавливать хозяйство, стране не нужно наваливаться только налогами на Тарасов, но нужно как можно больше работать — стараться рабочим и дня не только не убавлять, а прибавлять. А они, несмотря на бедственное положение государства, стали как бы господами, а на Тарасов возложили ярмо еще более тяжелое, чем было раньше.

Когда от нас берут, давали бы хоть расписки, что, де, так и так, находимся в трудном положении, но хоть все и зорим, но обязуемся или по крайней мере обещаем поплатиться, когда разживемся гвоздиками и коечем... Хоть бы для близиру этакие расписки: нет, и даже без спасибо, выбранят буде, али обзовут как — вот и все,— и только распевают: «И все мы старое разрушим до основанья, а затем...»

Чтоб Савастьяны остались ни с чем.

Вот ты сказал, эта самая эк.. плутация — эксплатация... Чтоб, значит, не захватывать. И как, братец, я замечаю, как который человек начинает говорить эти слова, так и видишь, что свою спину от труда норовит освободить: поработать поменьше и взять побольше, т. е. иметь, чтобы с прихваткой от чужого труда... Это и есть эксплоатация...

— Ты что-то лишка, дядя Савастьян... Ведь этакого не примут в газету...

— Я же и говорю: не рассчитываю... У них политическая экономия, чтобы, значит, лишка не поработать в пользование другого, а у нас экономия евангелическая, простая — прямо, значит, быка за рога: работай, и чтобы как можно больше пользовались той работой другие, и все тут.

— Как же, по-твоему, нужно было рабочим и вообще русским поступить?

— Не думаешь ли ты, что лучше этого ничего не могло и быть? Могли бы лучше поступить, если бы были совершеннее, ближе к божественному. Что было причиной бедствий? Война, оружие, беззаконие правящих и неправящих, владетельных и невладетельных. Множество людей в городах и деревнях оказались без хлеба и работы. И это умаляет их вину. Но они могли бы поступить и лучше, если бы были разумнее... Были и геройство, храбрость — но это человеческое, а не то, как в первые века христианства — умирали на крестах, не подымая оружия и с молитвой за мучителей... И если случилось, что мы не совсем ладно поступили, то не нужно отчаиваться, чтобы исправить неладное... Нужно приходить в разум.

(Набросок пьесы)

ЦАРЬ. Позовите сюда того художника.
(Слуга уходит.)
(Музыка. Явл. С. Ф.Р.)
Вы художник Радугин?

РАДУГИН. Я. Стафей Фетистов Радугин..

ЦАРЬ. Это Вашей работы картины?

РАДУГИН. Моей, Ваша милость...

ЦАРЬ. Вы получили наше решение — отмежевать тебе земли к одному месту для постройки жилища и вашего займища личного и показательного?

* (Ульянова.— *Ред.*)

РАДУГИН. Получил... Благодарю тебя и мудрого твоего советника.

ЦАРЬ. Поступай придворным художником к нам. Все тебе будет: роскошное помещение и, кроме того, поезжай куда хочешь бесплатно и делай что желаешь в своем художестве.

РАДУГИН. Если бы при нашем селеньи... И так...

ЦАРЬ. Или поезжай куда угодно за границу — все тебе: эропланы, кареты, железные дороги, и там поселишься в любой стране. Например, где никогда не бывает зимы, произрастают обильно всякие фрукты и зерна, что тебе нужно, что душа желает.

РАДУГИН. Не согласен: у меня здесь многолетнее дело...

ЦАРЬ. Ну как хочешь. Посещай нас без докладу, если когда пожелается и если что нужно будет сказывай.

РАДУГИН. Благодарю, государь-царь и государь-советник.

(Кланяется.)

Художник Стафей Фетистов Радугин. Его величеству царю Фораряю. Прошу объявить через дворцовое управление студийцам шабловского детсада, которым заведую, что во время занятий дверь не запираю, и ежели дверь заперта, значит, занятий нет, и стукаться не следует, разве только по делу.

ЦАРЬ. Объявить им, боярин, через «дворцовое управление». У вас есть сад?

РАДУГИН. Есть, государь. Только это названье не наше... В детсаду разумеются дети от 3-х до семи лет, от 9-ти до 3-х часов. Но в нашей деревне нет учреждений для других возрастов, потому сколько ни ограничиваем возраст и время посещения — приходят и раньше 9-ти, уходят и после 3-х ч., обыкновенно от утра до вечера. Скорее подходит название детский культурный очаг. И вообще для всех. Например. Наши представленья...

ЦАРЬ. Ну как относятся поселяне к Вашему саду или очагу, как говорите?

РАДУГИН. Не знаю как, государь. И нет ничего определенного, к чему бы можно было относиться-то... Как раньше займовался я своим делом на свой счет, так и теперь. Все свое: и хлеб, и одежда, и вещи, которые детям показываю, струны и музыки...

Я нахожусь в ужаснейших условиях: в пыли, в чаду от плохой печки, простужаюсь от холоду. Всю зиму сплю, не снимая верхней теплой одежды, на печи... Всю зиму не парился. И все мне недосуг ровно и пуговицы пришить к одежде... Придумывал и писал декорации, и скелет для них делал сам, столики для детей, буквенный шрифт из глины, клише картинок для раскрашивания, костюмы, маски, куклы, коляски, и я же пишу пьесы для представлений в детском нашем театре, т. е. в этом ящике, в котором я задыхаюсь: дом называется... И в этой куче всякой работы с плохим инструментом, помещением, приходят в наш дружный залавок кому когда вздумается: от утра до вечера, во все дни, не исключая и праздников, даже Рождества Господня... И по вечерам даже...

* * *

Для зав. руков. шабловским детсадом.
В отдел народного образования

Сад открыт с 1 дек. 1920 г. Занятия детей: смотрели иллюстративные книги, журналы и в пере (неразборчиво) — сказки, пословицы. Чтенье и рассказы, рисовали от себя и по образцам карандашом и красками на бумаге. Работы их (листки и тетрадочки) хранятся все. Делали разные разнолепестные цветочки из бумаги. Лепили из глины, пели, играли представления в детском театре: «Чудесная дудочка», «Чивилюшка», «Ягая баба» и разные мелкие импровизации.

Любят наряжаться в костюмы и маски. Взрослые жители деревни приходили на представленья.

Столярных работ и работ ручного ремесла не было по недостатку инструментов и помещения.

* * *

Теперь, когда большинство завладело меньшинством, столь много потребителей на шаблоны культуры, что она стала похожа на капусту в огороде, наполненном бродячими козлами. И много-много нужно шаблонов для их насыщения. Оригинальное теперь утопает подобно зефиру в буйных ветрах. Или если бы навину, полную пеньков и колод, стали боронить чудесной золотой бороною... Оригинальное теперь ломает жизнь, как удивительный механизм из шелковых волокон и паутины среди мусоров камней и кирпичных обломков.

Выставленные работы не закончены, т. к. в эти трудные годы время уходило на крестьянскую ломовую работу; изделия из глины представляют лишь часть кордона фигур и построек. Выставить все не могу по причине затруднительного положения семьи: много хлопот по укладке, перевозке и т. д. Вознаградит ли публика полным вниманием...

Выставка в г. Кологриве — моя в здании, где помещался музей краеведения (рядом с домом бывшего городского училища) открывается. Выставка эскизов — картин и художественных изделий из глины — работы крестьянина-художника Еф. Честненкова-Самойлова. На непродолжительное время ежедневно с 11 ч. утра до 6 ч. вечера.

Вход платный.

* * *

Ульянов сказал: если сумеет партия ввести хозяйственность, она удержится... Это значит, если сумеет рыба жить на суше, курица летать как ласточка и т. д. Просто вскочите на луну, тогда дело наше удержится. И я бы мог сказать: перескочите на дубине Волгу и обещаю вам больше Ульянова — вы получите тогда сразу все машины и тракты... И летучие дома, и города, и речи воздушные. Но не желаю говорить пустых фраз и играть в обеты, стоящие великих бедствий народу.

Когда поезд без удержу несется с неразумным машинистом и обреченными седоками — опускают тормоз.

Безумны стали наши братья...
Идут озлобленной толпой,
Рабами назвались проклятья...
И собралися на разбой.
Их очи мстительно суровы,
У них жестокий трибунал.
И будто звери с жаждой крови,
Поют «Интернационал»...
Когда разгром тот дикий грянет
Над домом дедов и отцов,
Тогда-то бедствие настанет
И поученье для глупцов...

* * *

Искусство — это оригинально, не шаблонно, ново. Что можно лишь повторить машинально, машиной — то уже будет шаблон. Всякое повторение — есть шаблон, а что оригинально, то новый небывалый вклад в человеческую культуру. Оригинальное — есть самобытность...

Искусство меня умиротворило. Изображение страждущих, угнетенных без мстительности — действует неотразимее и действительнее, благотворительнее всяких мстительных возбуждений... Христианство (не обрядовое) освобождает от угнетения и всяческих оков безусловно. И только оно... А грубая сила освобождает лишь временно и относительно... Высшая красота распята на кресте...

Эскизов у меня много, и дальше я не перечисляю...

Но эскизы бурных вспышек окончились еще до 5-го года, и с того времени идут картины примирения, хотя все те же общественные вопросы и до сего времени — и та же борьба стремлений... Чем больше, тем умиротвореннее: и в самых последних — одно уже мирное строительство. Так что могут подумать, что меня не тревожили бурно общественные вопросы... требуется мирное строительство, а не разрушительное смятение.

* * *

Положение чем дальше — все хуже (именно все — продовольствие, и материал, и пр.) Если выручу большим трудом (на какой — за эту выручку — никто из мужиков бы не согласился) — на эти пятачки покупаю только материал для искусств в кологривской лавочке — плохого качества, да и того мало или совсем нет... напр., бумаги давно уже нет. Удалось раз — дали немного в конторе, но не годится ни для чернил, ни для акварели — распускает. Но из продовольственных продуктов не дают мне ничего — книжки нет — дорого. А даром как там просить? Мне это претит, унизительно. Да и по книжкам выдача так редка и мала — почти ничего...

Живем — оржанина да картофель. Ни сахару, ни пшена, ни пшеничной муки — давно, давно уже так. Пищевой продукт выдают служащим и лесорабочим, или еще там кому,— не знаю.

Мануфактуры четверти даже не покупывал уже 15 лет, с тех пор, как начались войны. Но с керосином год-другой до нынешнего — было привольно, но нынче тоже мало выдают и только по книжкам.

На крестьянскую ломовую работу у меня уходит лучшее время. От него и питаюсь. А от искусства в деревне жить, видимо, нельзя, ежели через пятачки, а буде прямо натурой от народу.

Выходит — совсем мне заниматься искусством нельзя. Ведь это не лапти плести, при лучине вовсе неловко.

В лесорабочие и служащие не поступаю, потому что летом ломовизм на земле, а зимой удерживаюсь для искусства.

И так идет в муках вся моя жизнь. А творений куча: словесность, живопись, скульптура. О пустяшных выходах из положения нечего мне и говорить — вода речей не может поднять лодку.

Жизнь усердных занятий, насколько можно в моем положении, и не женат потому. Винить некого...

Творенья моих искусств я считаю важным для страны и вообще. Разве бы я стал наобум тратить всю мою жизнь...



ОЛЬГА ЩЕРБИНИНА

НЕЧИСТАЯ СИЛА

1. ЛЕСНОЙ СТАРИК

Мне мой дедушка рассказывал, мамин отец. У них был старик, и у него были владения до лога. Если человек успеет лог перейти, то уйдет от него, а если не успеет, то пропал.

Раз они с покоса поехали, и старик сел к ним. И вот лошади не идут, и всё. Их стегают, они все в пене, в мыле. Кое-как дошли до лога, старик-то слез и вот все выше, выше стал подыматься, вот и над лесом поднялся и захохотал, и над лесом дым выпустил.

И вот от лешего, чтобы спастись, люди дугу на лошадь задом наперед надевают и особые слова говорят. Чтобы запутать, обмануть нечистую силу.

И бывает, что он водит. Вот такое бывает, с мамой тоже случалось. Вот она дорогу знает, заблудиться никак невозможно, а блуждала, сколько раз блуждала. Вот вóдит, вóдит он, а если молитву какую-то там скажешь, то окажешься опять на этой дороге.

И вот еще случалось. Там учительница у них была (в селе Кунара Невьянского района.— *О. Щ.*), в войну как раз. И вот с ней тоже такое же случилось. Она говорит: иду, говорит, и смотрю — какой-то сзади человек идет. Ну, я быстрей, и он быстрей, я бегом, и он за мной бегом. Ну, страшно ведь все равно. Вот только я, говорит, за этот лог перебежала, он поднялся выше леса и захохотал: «А, узнала!»

(Записано на станции Таватуй Свердловской обл.).

2. БОГ НАКАЗАЛ

У нас еще мама-то рассказывала — про Бога. Вот раньше-то была Пасха. В церковь ходили, а перед этим — рóзговенье. И вот надо кого-то пригласить в гости, чтобы угостить. Сын стал кого-то звать в гости. А мать говорит: зачем? Не надо. И вот идет, смотрит: какой-то старик валяется, такой грязный весь, ободранный. Пойдем, говорит, хоть ты со мной, разговеешься. И вот идут, а перед этим всегда охота в баню, а баня еще теплая была. Вот он старика вымыл, переодел и посадил за стол. И потом день, что ли, у него старик-то прожил. Потом стал собираться домой: теперь, говорит, ты давай в гости ко мне. А этот мужик-то богатый был, говорит: куда я к тебе должен в гости приходить? Он говорит: приедет к тебе за ворота конь, ты на него садись, он тебя довезет. В какое-то время мужик смотрит: подъехал конь. Он на него сел, конь поскакал и привез его к какой-то избушке. А эта избушка в лесу стояла, там птички и все такое, райский уголок такой. Ну, этот старик его встретил, стал водить по всему дому, показывать все. Там дверь была, чуланка; а ты туда, говорит, не ходи, не заглядывай. Он думает: ну что там такое, что не заглядывать-то? И вот уже как вечер наступил, интересно ему стало. А дверь была немного приоткрыта. И он смотрит: стоит такой большой котел, и в этом котле женщина — выскакивает и снова туда, в котел кипящий. Он испугался, думает: ну как это, женщина-то? И он ее решил спасти. Туда спустился, за волосы схватил. Женщина исчезла, а волосы у него в руке остались. Он испугался: узнает хозяин, что заглядывал. Он взял волосы, спрятал и вышел оттудова: ну все, я домой поеду. А хозяин говорит: ты волосы-то себе забери. (Узнал!)

И вот мужик домой приходит, а мать мертвая лежит — и без волос. Понял он тогда, кто этот старик был...

(Записано там же).

На вопрос: кто же это был? — рассказчица, молодая женщина, слышавшая этот рассказ от матери, отвечает неуверенно: «Бог». Но, скорее всего, речь не о Боге, а об одном из его «приближенных», возможно, об апостоле Петре, который «заведует» раем. Петр наказывает жадную, жестокосердную бабу, не соблюдавшую Пасху, и благодарит праведного мужика. Явна перекличка с народной сказкой: котел, таинственная избушка, заклятое место (чуланка).

3. ПРЕВРАЩЕНИЕ В ВОЛКОВ

Раньше еще было: если не пригласишь колдуна на свадьбу или не одаришь его хорошо, то он превращал всю свадьбу в волков. Мне мама рассказывала: у них (в Кунарах.— *О. Щ.*) таких случаев много было. У ней даже какая-то там родственница тоже вот не одарила, так год не могла даже вставать. И только когда одарили того человека, тогда она встала.

(Записано там же).

4. БАЕННИЦА

Раньше бани-то на отшибе строили, в огороде или возле речки. И вот мамин брат рассказывал: он первый пошел в баню. Вымылся, все,— да и вылетает оттуда. А как раз жена его идет: что это с тобой? А вот представь, говорит, вымылся, попарился, стал уж обкатываться, и вдруг женщина заходит... Главное, ноги-то волосатые какие-то. (Видно, хотела его утащить.) Я, говорит, ее оттолкнул и выбежал. Ну, жена подошла к бане, перекрестила, вошла — никого нет.

(Записано там же).

Сюжеты о баеннице, а также о превращении в волков были чрезвычайно распространены по всей России. Однако в наши дни вера в подобные превращения уже достаточно редка; И. П. Сахаров отмечал, что вера эта держится с конца прошлого века только по самым глухим местам России.

В нашем случае сюжеты записаны от молодой женщины, которая пересказывала их (со слов матери) с большой долей уверенности в истинности случившихся событий.

5. МЕРТВЕЦ-ПОСЫЛЬНЫЙ

Одной бабе ночью приснился ее покойный муж, и будто бы он говорит:

— Жена, мне ботинки надо другие, а то у меня ноги мерзнут. В такой-то избе завтра в такое-то время помрет девочка, так ты с ней ботинки-то пошли.

Жена на другой день пришла в избу в указанное время, а там как раз девочка только что померла. Она свой сон рассказала, так в гроб девочке ботинки для покойного ее мужа положили.

(Записано в селе Висим Свердловской обл.).

6. ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

Молодых на свадьбе мать благословила иконой. А они сунули ее за печь и там позабыли. Как-то едут они с покоса под вечер, а на дороге стоит старушка.

— Бабушка, садись, подвезем.

— Что меня подвозить, я ведь у вас дома за печкой живу.

И исчезла.

Молодые домой приехали, икону из-за печки достали, в красный угол поставили.

(Записано там же).

7. АНГЕЛЫ ОТПЕВАЮТ

В селе Бруснятском был старенький поп, за девяносто ему было. Стал он немощен и иногда стал позабывать кое-что. Вот, бывало, с вечера на паперть накладут прихожане бумажек с именами, кому панихиду надо служить, а он, бывает, за обшлаг засунет и позабудет.

Как-то поп отслужил всенощную, церковь запер, свечи везде потушил, пришел домой и лег спать. Дом его против церкви. Вот видит: в церкви свет так ярко горит и пение раздается. Что такое? Видно, думает, я свет забыл потушить. Встал, оделся, в церковь заходит — никого, темно, тихо. Видно, почудилось. Пошел, лег. Только лег — снова свет в окнах и пение. Он вдругорядь поднялся и вошел в церковь. И опять ничего. А только лег — снова то же. «Ну, не пойду больше». Так и уснул. Утром в церковь приходит — на налое лежат бумажки с именами, что ему прихожане написали, а он забыл. И те бумажки вот где оказались. Понял тогда поп, что это ангелы заупокойную службу ночью в церкви служили.

Это сам прежний поп прихожанам рассказывал.

(Записано в селе Бруснятском Свердловской обл.).

8. СТОЛП СВЕТА

Когда в селе Бруснятском разоряли церковь Святой Троицы, жители села видели в небе огненный столп. Он долго стоял, а потом поднялся выше, выше и исчез. Спросили батюшку, он сказал: это Господь приходил свой престол забирать.

(Записано там же).



ФОТО ВИКТОРА МАРУШЕНКО. Г. КИЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»



История журнала «Континент» накрепко связана с судьбой писателя Владимира Максимова. В 1973 году он вынужден был покинуть Родину, как казалось тогда, навсегда. А в 1974 году на прилавках магазинов русской книги многих стран мира появился в продаже карманного формата объемистый томик. Александр Солженицын так обосновал в своем приветствии цели и задачи парижского издания: «Появление нового журнала «Континент» вызывает и новые надежды. С тех пор как в СССР были в зародыше удавлены попытки выпускать самиздатские журналы, никак не подчиненные и не согласованные с официальной идеологией, и был разгромлен единственный честный и глубокий журнал «Новый мир»,— русская интеллигенция в первый раз пытается объединить свои мысли и произведения, пренебрегая волею лиц и своей разделенностью государственными границами. Не лучшая форма и не лучшая территория для появления свободного русского журнала, куда б на сердце было светлей, если бы и все авторы и само издательство располагались на коренной русской территории. Но по нынешним условиям очевидно это невозможно...»

Первый же номер журнала собрал первоклассных авторов: Александр Солженицын, Эжен Ионеско, Андрей Сахаров, Иосиф Бродский, Владимир Корнилов, Странник (архиепископ Сан-Францисский и Северо-Американский), Абрам Терц (А. Синявский), Игорь Голомшток, Милован Джилас (крупнейший югославский политик и ученый), Зинаида Шаховская, Карл Густав-Штрем (немецкий публицист).

Журнал задумывался как инструмент сопротивления тоталитарной системе и идеологии. Его издание было моральным долгом перед страной, которую оставили многие талантливые люди. Именно «пафос» сопротивления советской системе, проповедовавшийся журналом с самого его возникновения, и помог объединить многих, казалось бы, взаимоисключающих людей. Поначалу в журнале сотрудничал Александр Солженицын. В первых номерах были активны Андрей Синявский и Мария Розанова. Потом они отошли от работы.

Название для журнала предложил Солженицын. Всех привлекла емкость этого слова. Авторы журнала как бы говорили от имени целого континента культуры стран Восточной Европы, огромного континента, где господствовал тоталитаризм со своим архипелагом жестокости и насилия. Наконец, журнал стремился создать вокруг себя объединенный континент всех сил антитоталитаризма в духовной борьбе за свободу и достоинство Человека. Журнал напоминал о том, что никакая высокая цель никаким насилием не способна уничтожить свободу Личности. Своими публикациями он будоражил всех, кто пытался спрятаться в логово кустарной идеологии или в обманчивую частную жизнь вместо того, чтобы честно разобраться в действительности. Как считает Наум Коржавин, «Континент» противостоит всем попыткам превратить Россию и русский народ в козлов отпущения за грехи всей нашей цивилизации, попыткам не только обидным и несправедливым, но и опасным — ибо внушают всем остальным, что они ни при чем и в безопасности.

«Континент» не только идет нога в ногу с событиями, но и нередко опережает их, предостерегая, настораживая. Характерен в этом смысле такой пример: в 50-м номере журнала за 1986 год был напечатан материал «Внимание: опасность», полученный по каналам самиздата. Это была стенограмма выступления Д. Васильева — одного из лидеров общества «Память». В этой публикации практически впервые возникла фамилия Васильева. Журнал мгновенно отреагировал на опасность зарождения экстремистской организации. И только спустя два-три года о «Памяти» всерьез заговорили в советской прессе.

«Континент» быстро включился не только в текущий литературный процесс, но и в горячую общественную полемику. Полагаю, мало кто знает, что еще в первом номере была напечатана статья Андрея Синявского «Литературный процесс в России», пассаж из которой вызвал не так давно бурю откликов и споров в нашей печати. Между прочим, статья эта до сих пор не перепечатана у нас полностью. Приведу тот самый абзац, в котором писатель, рассуждая о третьей эмиграции, говорит: «Сейчас на повестке дня— третья эмиграция, третья за время советской власти, за пятьдесят семь лет. Пока что ее подавляющую часть составляют евреи, которых более-менее выпускают. Но если бы выпускали всех, еще не известно, кто бы перевесил — литовцы, латыши, русские или украинцы... Хорошо, что выпускают евреев, хоть — евреев. И это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное на помойку с позором — дитя!..» Простите за длинное цитирование, но именно познакомившись с этим отрывком из работы Синявского, можно понять, что даже в пылу обиды, в состоянии эмоционального потрясения у автора не было намерения оскорблять русских, Россию.

В одном из своих многочисленных интервью в Советском Союзе Владимир Максимов, отвечая на вопрос журналиста: «Испытывал ли «Континент» когда-либо откуда-либо идеологическое давление?» — сказал: «Я очень этого опасался все 16 лет нашего существования. Но никогда со стороны Дома Шпрингера — издателя журнала, а уж от самого Шпрингера тем более — пресса не испытывал».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ



ФОТО МИХАИЛА СЕРДЮКОВА

Вообще история «Континента» изобилует драматическими моментами. Владимир Емельянович рассказывал мне, что, когда организовался журнал, он пригласил сотрудничать в нем людей самых разных взглядов и направлений. Мало кто отказывался. Быть может, каждый из них надеялся повернуть по-своему направление журнала. Но они, видимо, не знали характера Максимова, который твердо заявил, что журнал не будет ни антитатарским, ни антиукраинским, ни антисемитским, но он не будет и антирусским. После этого кое-кто отказался от сотрудничества с журналом.

«Хочу сказать,— размышлял Максимов,— и это обдуманная концепция: для меня не национальность человека главное, а его *человеческие качества*».

Сейчас журнал на распутье: каким ему быть, куда идти и с кем? Может быть, отдать его молодежи, новой литературе? А содержание произведений молодых и неизвестных авторов вставить в оправу сложившейся структуры журнала? А может быть, уже и не нужен «Континент»? И надо ли делить русскую литературу на «ту» и «нашу»?

Вопросов много. Но журнал продолжает выходить. С той только разницей, причем принципиальной, что набирается он теперь в Москве. «Континент», словно выполняя давнее стремление, возвращается, говоря словами Солженицына, «на коренную русскую территорию». Можно сказать, что это его второе рождение...

Еще вчера журнал считался самым антикоммунистическим на Западе. Сегодня риск выпуска (и материальный и идеологический) взял на себя киноиздательский консорциум «Аверс». Печатается журнал тиражом сто тысяч экземпляров. Иной читатель, уверен, заметит: у нас и миллионные тиражи не редкость. Все верно, но стоит учесть, что прежний тираж «Континента» равнялся трем тысячам.

Создана и московская редколлегия журнала. В нее вошли Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Юлиу Эдлис, Игорь Виноградов. С радостью принял я предложение подготовить к печати двенадцатитомное «Избранное» «Континента». Первый выпуск, том прозы «Жертвоприношение», в котором произведения наших «западных» прозаиков: Аксенова, Войновича, Довлатова, отрывки из мемуаров Галины Вишневской, публицистика Иосифа Бродского, сатирические новеллы Юза Алешковского, киносценарии Андрея Тарковского, вот-вот выйдет в свет.

Сегодня, представляя журнал «Континент», мы знакомим вас со специально подготовленной для «Родины» статьей Булата Окуджавы о Владимире Максимове, воспоминаниями Тамары Грум-Гржимайло, которые выйдут в свет в ближайшем номере «Континента», и статьей Эдуарда Кузнецова из архива журнала.

ФЕЛИКС МЕДВЕДЕВ,
редактор отдела русского зарубежья журнала «Родина»

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Несколько сцен из провинциальной пьесы

Как-то получилось так, что прозой мы с Владимиром Максимовым занялись одновременно, не сговариваясь. Видимо, что-то носилось в воздухе. Это был шестидесятый год. Я написал военную повесть о себе самом, он — повесть «Мы обживаем землю» тоже на автобиографическом материале. Хотелось высказаться. Затем наши вещи очутились рядом в сборнике «Тарусские страницы», в многострадальном сборнике под редакцией К. Паустовского. Старик нас приметил и обогрел. Затем начались всяческие нападки устно и в прессе. Особенно почему-то доставалось мне и Максимову. Из семидесятипятитысячного тиража успели отпечатать тридцать тысяч, и они были распроданы в течение двух дней с лотков, не попав в библиотеки и тут же превратившись в библиографическую редкость.

Теперь, по истечении тридцати лет, я многого не помню, но кое-что помню отчетливо. Первое, пронзительное воспоминание. Мы все, авторы сборника, собрались в «Литературной газете». Ликовали. Щупали свежие номера. Это была красивая книжка по тем временам. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошел литературный критик Григорий Соловьев. Маленький, невзрачный, с бегающими глазками. Он держал в руках наш новенький сборник. Глазки его горели. Он сказал с порога:

— Ну, ребята, вот это да! Это же такая книжка, что можно, не читая, а только по фамилиям авторов учинить разгром!

Мы оцепенели от неожиданности. Максимов спросил сквозь зубы:

— Это какие же фамилии?

— Цветаева, Мандельштам! — крикнул, ликуя, Соловьев.— И прочие...

Мы молчали. Максимов сказал:

— Ну ты, давай отсюда! — И пошел на критика, и тот выскочил в коридор и побежал, как видно, выстраивая в голове концепцию разгрома, что вскоре, кажется, и осуществил. Критик он был ничтожный, на подхвате, беспринципный и конъюнктурный. В прессе начиналась травля. В связи со скандалом вокруг сборника было спущено сверху распоряжение снять редактора сборника Романа Левиту за проявленную политическую близорукость. Мы, авторы, решили за него заступиться (терять уже было нечего) и написали резкое письмо М. Суслову с требованием нас принять. Но Суслов встретиться с нами не пожелал, а поручил это крупному партийному чиновнику Романову. Нас вызвали. Мы явились. Мы сидели в небольшом кабинете перед самим Романовым и ждали, что он скажет.

В глазах его были тоска и недоумение. Он спросил:

— Отчего же вы прямо не пошли с вашими рукописями, ну, скажем, в «Новый мир»?

Все молчали. Максимов ответил очень дружелюбно:

— Мы ходили. Там не захотели печатать.

— Ну, в «Знамя» снесли бы,— вяло посоветовал Романов.

— Были и в «Знамени»,— сказал Максимов.

— Зачем это нужно было — какое-то сомнительное издание? — спросил Романов, глядя мимо нас.— Можно было бы в «Новый мир», например...

— Были в «Новом мире»,— сказал Максимов.

Мы молчали. Говорить было нечего. Мне помнится, было почему-то даже смешно. Нервное, видимо. У Володи ходили желваки. Он накалялся.

— А чего же в «Знамя» не понесли? — спросил Романов.

— В «Знамени» тоже были,— ответил Максимов яростным шепотом.

Кто-то из нас, сейчас не помню, кто, сказал:

— Нас, собственно, беспокоит судьба редактора сборника. За что его уволили?

Романов помолчал, потом сказал:

— Можно было бы и в другие журналы. Вон их у нас сколько.

— Носили,— сказал Максимов.

— А в «Новый мир»? — спросил Романов.

Он смотрел в сторону. На лице его было страдание.

— Носили,— прошипел Максимов.

— Ну, в «Знамя»,— автоматически посоветовал Романов,— пошли бы в «Знамя»...

Оставалось поблагодарить за беседу. Прощаясь, Романов облегченно вздыхал.

Это мне хорошо запомнилось.

За что же нас поносила критика? Я семнадцати лет попал на фронт, был солдатом и впечатления городского юноши, попавшего на бойню, постарался описать с возможной достоверностью. Мой герой не хотел умирать. Меня обвинили в антигероизме. Я вспоминал себя жалким и маленьким на громадном поле сражения, с тонкой шейкой и в обмотках. Меня обвинили в пацифизме и клевете на советскую армию. Мой герой влюбился в связистку. Меня обвинили в мещанском слюнтяйстве... Сейчас и не объяснить претензий критики тех лет, настолько это выглядит нелепо.

Володя Максимов был беспризорником, рабочим на дальнем Севере, провинциальным журналистом. Он написал правдивую жесткую повесть о пережитом, не приспосабливаясь, не потакая официальному елею. Его обвинили в очернительстве и грязекопании. Как объяснить дотошным современным молодым людям, зрелость которых совпала с перестройкой, гласностью, как объяснить им, в чем была наша вина? Я уж не говорю о наивных иностранцах, у которых в голове вообще не укладывались и раньше, да и теперь не укладываются эти проблемы. Бывало, меня спрашивал такой вибрирующий доброжелательный западный персонаж, мол, что вызвало гнев властей? Что им не нравится в, например, Максимове? Я говорил, что желание быть независимым, самостоятельно мыслить, говорить, что думает...

— Да? И что же?..

— А это властям не нравится.

— Почему?

— Ну, они хотят, чтобы все думали, как они...

— Но это же несерьезно!

— Может быть, но его не печатают.

— Пусть он обратится в суд.

— А большой начальник позвонит судье, и судья сделает, как он пожелает.

— Тогда надо выгнать этого судью! — кричит возбужденный персонаж.— Надо встать с плакатами около входа в суд.

— А вас арестуют за хулиганство или за клевету на советский суд.

Он смотрит на меня, как на идиота, потому что я его не понимаю.

— Так пусть он обратится в прессу!

Теперь я смотрю на него, как на идиота, потому что он меня не понимает.

— А большой начальник рассердится, наконец, и протестанта посадят в сумасшедший дом.

Так я портил настроение многим. Понадобились долгие годы, чтобы некоторые из них постепенно кое-что начали понимать.

Так вот, в те годы мы не особенно задумывались над вопросом, в чем наша вина. Это само собой разумелось. Были мы и была официальная культура, чуждая нам и неприемлемая. Нет, мы не были революционерами и ниспровергателями. Мы просто хотели жить чуть-чуть раскованней и свободней. Но с тех пор как многих, в том числе и Максимова, словно из тюбика, выдавили из страны, мы начали задумываться всерьез.

Конечно, проза Максимова шла вразрез с общепринятым. Она была жесткая и горькая и не склонная к компромиссам. И по тем временам она была неприемлема и казалась взрывоопасной. Но шум вокруг «Тарусских страниц» пробудил интерес к имени, и о Максимове заговорили.

Володя жил в Сокольниках на улице Савушкина в старом доме дореволюционной постройки. Нужно было пройти через захламленный дворик, шагнуть в темный подъезд, пропахший кошками и старостью, и тут же в полуподвальном этаже, в коммунальной квартире, в небольшой мрачной комнатке с сырыми разводами по стенам проживали три человека: сам автор «Тарусских страниц», его тетка, заменившая ему мать, которая вырастила его и звалась мамой, и младшая сестренка Катя. В квартире было множество соседей, с кухни доносились ароматы убогой еды, из разбитого облезлого клозета — журчание неостановимой воды, и на всем лежала серая тень прожитого, тухнувшего, дряхлого, многократно проклятого человечьего общежития. Помню, я был склонен мириться с этим, не замечать, пожимать плечами. Он же неистовствовал и не принимал этого, как свинства, как несправедливости и преступного пренебрежения человеком.

Из этой своей сокольнической клоаки он приходил ежедневно в «Литературную газету», где я тогда работал, садился за мой стол к телефону и начинал звонить по различным учреждениям, пристраивая начинающих литераторов, заступаясь за отверженных, вымаливая кому-то какие-то маленькие блага, яростно споря или расточая елей в зависимости от того, кто там сидел на другом конце провода, лишь бы выпросить, вымолить для «хорошего человека» толику тепла, расположения и удачи.

Иногда он исчезал на неделю, на две. Я знал: он запил. С ним это случалось. Особенно когда ожесточение достигало предела, скапливалось, скапливалось, и тут начиналось. Он пил втемную, жестоко, но не на людях, всегда забившись в свой угол, предварительно запасшись достаточным количеством водки. Пил и замертво сваливался на свой матрасик в углу. Просыпался, пил и снова погружался в беспамятство. Он в те дни существовал, с какой-то непонятной деликатностью стараясь никого не задеть, не обидеть, не показаться навязчивым. В нем не было купеческой разухабистости, тщеславного куража, а только болезнь и страдание. И удрученные тетка и Катя ютились в своем углу, не умея помочь, не зная средств спасения. И это до той поры, пока однажды он не приходил в себя. Заросший, изможденный, виноватый, он был тих, послушен, великодушен и переполнен раскаянием. И вот, наконец, руки начинали слушаться, он тщательно брился, по возможности наводил нехитрый московский лоск: непременно отутюженные брюки, непременно галстук; и снова — мой телефон и борьба за чьи-то безвестные судьбы; и снова друзья и московские кухни, и споры о политике и литературе, и водка, и нехитрая снедь, и все навеселе, и только он один выбритый до синевы, респектабельный, со стаканом минеральной воды в твердой руке.

Пусть вас не удивляет прошедшее время, в котором я пишу, это многозначительное «было». Просто иные времена, до его отъезда, когда-то, на другой планете.

Пусть вас не коробит его пристрастие к вину. Он ведь не был банальным пьянчужкой. Это была болезнь, трагедия. Да это ведь и не мерило человеческого достоинства. Трезвенники ведь тоже зачастую не сахар. Так что умерим наши ханжеские страсти.

Его упрекали в жестокости, бескомпромиссности, в неприятии иных мнений, кроме его. Мне приходилось видеть бешенство в его глазах и искаженное ненавистью лицо. Было, было, все было. Я ему говорил:

— Ты протестуешь против подавления инакомыслия, а сам не терпишь инакомыслия...

Губы у него белели обычно, но он сдерживался и почти шипел:

— Но ведь есть же какая-то объективная истина! Ну что ж они так-то?..

Я с ним никогда не спорил. Не потому, что жалел его или себя, нет. Просто я всегда был против словесных поединков. Зачем они? Чтобы установить истину? Да разве это нам по силам? У каждого собственная убежденность, свой взгляд на мир, на события. Это результат личного опыта. Как можно навязать свой опыт другому? Благо если спорщики хорошо воспитаны, но это большая редкость, это возможно в основном лишь теоретически. Мы ведь дикие люди с огнем в крови. Только Время способно опровергнуть заблуждение, только Время, а не наши слова, не наша страстность... И поэтому я против словесных поединков. Кроме того, сознание собственной правоты рождает самодовольство. Зачем все это? В конце концов, если мне пытаются навязать точку зрения, которая кажется мне отвратительной и мерзкой, я отвернусь от этого человека, порву с ним. Но зачем спорить? А если это хороший человек и просто у него иное мнение по какому-то вопросу, которое в моих глазах не выглядит ни предосудительным, ни преступным, а просто иным, не похожим на мое,— зачем спорить? Разве это расхождение может помешать нам быть вместе?

...И я обрывал спор, и он это принимал. Он относился ко мне весьма возвышенно, и я старался этим не злоупотреблять. Хотя, что и говорить, спорщик он был отчаянный и непримиримый, и иногда в нем просыпался бывший беспризорник, и он говорил с неистовым придыханием:

— Ну что же эта сука не понимает элементарных вещей? Вот падла!

То, что происходит у нас сегодня, обсуждалось на московских кухнях с ожесточением уже в те годы, особенно в те годы, когда многое открылось, но не до конца, а едва-едва: и то, что партия «наш рулевой» завела нас в тупик, и ей необходима в первую очередь коренная реконструкция, и то, что общество деградировало, и новый советский человек, о котором столько трубили — вот он, готовенький, тепленький, потерявший человеческий облик от страха, от крови, от насилия, от вранья, ведущий двойную и тройную жизнь, отученный от радости труда, от чувства профессиональной гордости, и то, что совершили громадное количество преступлений, но разгребать авгиевы конюшни по-прежнему считалось предосудительным. Да, было ожесточение от безвыходности. Вспыхнувший было костер надежды угасал, его гасили целенаправленно и умело. Ну, не расстреливали, конечно: спохватились, но карательная стилистика была все та же — и ложь, и демагогия, и натравливание одних на других, и строй на строй, и бедных на богатых, и безмозглых на мыслящих, и прохиндеев на сомневающихся... По заводам разбрелись идеологические функционеры, которые го-

ворили рабочим приблизительно следующее: «Вот вы здесь вкалываете, приносите пользу государству, трудно живете, а интеллигенты всякие, писатели, академики с жиру бесятся и заигрывают с Западом, и клевещут на нашу родину!» Так наш писательский оргсекретарь бывший генерал госбезопасности Ильин приглашал группу писателей и информировал их мрачным тоном, что, мол, выяснились обстоятельства, при которых писатель N. занимался предосудительной клеветнической деятельностью.

— В чем она проявлялась? — спрашивали мы.

— Клевета на наш общественный строй.

— А нельзя ли почитать, что он там такое понаписал? — лукавили мы.

— Нет, нельзя,— и кивок к потолку.

— А как же установить, в чем клевета?

— Вы мне что, не верите? — делая страшные глаза, спрашивал Ильин.

Все опускали взор. Мы не верили, мы уже читали сочинение N. Там было немножко правды, немножко боли, немножко отчаяния. Мы молча расходились, приняв информацию к сведению. Бывало, кто-то, не выдержав, поднимал голос в защиту, нет, даже не в защиту, а просто выражал сомнение, и этого было достаточно, чтобы его прорабатывали, обсуждали, даже грозили, даже наказывали. Большинство же молчало.

Однако древоточец делал свое дело. Он медленно разъедал умирающую систему. Она была еще сильна, даже самодовольна, но содрогание ощущалось. То Дудинцев, то Пастернак, то Солженицын, то самиздатские листки, то острая фраза на публичном выступлении, то отчаянный молодой поэт, успевший выкрикнуть на бульваре четверостишие, то темные слухи о психушках, то суд над Синявским и Даниэлем, то внезапное разоблачение респектабельного критика, оказавшегося в прошлом провокатором и доносчиком... Скучать не приходилось.

Конечно, времена переменились. Уже невозможно было перестрелять всех без разбора, выходили из лагерей и тюрем оставшиеся в живых страдальцы, мировая общественность бурлила, и этого нельзя было скрыть, и все больше и больше появлялось смелых и неукротимых людей. Шла цепная реакция. Перевоспитывать людей было хлопотно, да и поздно, да и неизвестно какими способами. Оставалось одно: заставить их молчать. То есть пусть они говорят на своих кухнях, но не выкрикивают публично, пусть они пишут в свои столы, но не раздают для чтения. Пусть не рыпаются. И уж, конечно, никаких связей с Западом — сор из избы не выносить.

И вот я вспоминаю, как в один прекрасный день в маленькой моей комнатке на пятом этаже в «Литературной газете» появился очередной посетитель. Ему было под пятьдесят. Невысокий, крепкий, рыжеватый. Маленькие острые глазки, бежевое пальто, лицо простоватое. Вкрадчивый и тихоголосый. Графоманы тогда ходили ко мне толпой, один за другим, и я пригласил его присесть к столу, и мне было смешно видеть, как он тщательно закрыл за собой дверь и повозился даже, чтобы французский замок щелкнул. Затем уселся передо мной и протянул мне красную книжечку. Фамилия его была Бардин. Уже не помню, то ли полковник, то ли генерал госбезопасности. Там, у себя, он руководил культурой. И он спросил:

— Как поживаете?

— Спасибо,— сказал я нервно, понимая, что его интересует не это.

Я лихорадочно припоминал все предосудительное, что мне довелось совершить, а он сказал:

— Я, собственно, вот о чем. Вот у вас тихий кабинетик с телефоном, и вы часто выходите по разным делам, это ведь редакция, здесь нужно бегать, не правда ли? — И помолчал.— Ну, там, к редактору вызвали или в отдел, или, скажем, в буфет захотелось, не так ли? — и снова замолчал.

— Редакция,— вяло улыбнулся я,— не без этого.

— Вот. вот,— подхватил он,— я ведь о чем... Вот вы выбежали, оставили дверь открытой, а некто вошел и воспользовался вашим телефоном...

— В смысле позвонил? — не понял я.— И что же?

— А вот то же,— усмехнулся генерал,— заскочил и сделал звоночек.

Таинственность начала меня раздражать. Мне даже показалось, что он шутит. Однако лицо его было серьезно. В маленьких глазках витал тревожный огонек.

— Снял вашу трубку и позвонил,— сказал Бардин.

— И пусть звонит,— отмахнулся я.

— Э-э-э, все не так просто, как вы это себе представляете,— и замолчал. Так мы долго сидели, уставившись друг в друга. Затем он сказал шепотом: — Он ведь может позвонить в какое-нибудь посольство...

— А мне что? — сказал я.— В какое посольство?

— А в любое,— сказал генерал едва слышно.— Он, представляете, позвонил, передал информацию, ну, преступную, разумеется, а мы засекли ваш телефон...

— Молодцы,— сказал я.

— ... и тут начинается выяснение, то да сё, понимаете? Телефон-то ваш, а мы засекли...

До меня дошло, и я содрогнулся.

— А это что, случается? — спросил я.

— Еще бы,— сказал он серьезно,— не случалось бы, я бы вас не предупреждал. Мы о вас хорошего мнения, а тут вдруг такое, понимаете?

Я обалдело кивнул. И все-таки даже в ту минуту мне казалось, что генерал чего-то не договаривает. Но он встал, как-то боком сползши со стула, и протянул мне руку. Мы попрощались. Он направился к двери, открыл ее, вышел, прикрыл за собой и вдруг вновь возник на пороге, и снова вошел, и аккуратно закрыл дверь до щелчка, снова уселся на тот же стул и сказал:

— Да, кстати, я вот что хотел спросить: вы знакомы с Максимовым? — и уставился, не мигая.

Я вспомнил почему-то сразу Марка Максимова.

— Марк?

— Да,— сказал он, встрепенувшись,— что он?

— Ничего,— сказал я,— поэт.

— Ага,— произнес он многозначительно,— поэт...— А потом, помолчав: — Ну, а Владимир? Вы его знаете?

Тут я, наконец, все понял.

— Да, он мой друг,— сказал я,— талантливый писатель.

— Вот, вот,— обрадовался он,— именно. Очень талантливый. И вы дружите?.. Это замечательно.

Все встало на свои места. Марк был ни при чем. Я даже намеревался сказать ему, мол, бросьте свои уловки. говорите прямо... Но не сказал. И тут он выложил главное.

— Понимаете,— сказал он,— мы обязаны предупреждать всякие печальные события. А ваш друг поступает необдуманно,— и опять умолк и сверлил меня, но я выдержал.— Он, знаете, решил свое произведение передать на Запад. Через одну дамочку, западную дамочку, естественно. Такая, знаете, суетливая особа. И ваш друг соблазнился.

— Не знаю,— сказал я, холодея,— мне ничего не известно.

— Ну, это понятно,— усмехнулся он,— вам ничего не известно. Но мы хотим, чтобы вы его отговорили. Ну, что ему эта дамочка? Темная дамочка, а он талант. Ну, зачем обострять? Вы ему скажите по-дружески...

— Но его не печатают здесь, отказываются категорически вот уже много лет.

— Это почему же? — спросил генерал с наивностью пионера.— Он что, контрреволюцию разводит?

— Да какую контрреволюцию? — сказал я.— Ну, может быть, жестко, зато честно. Все говорят талант, талант, а не печатают, и он ходит в рваном пальто, живет черт знает где... талант, талант...

— Выпивает?

— А кто не выпивает?

— Ну да, это верно. Есенин вон тоже бывало... Так вы его предупредите, пожалуйста. Обострять-то не следует.

Я пообещал. Он исчез. И тут появился Володя, как в пьесе.

Я рассказал ему о генерале. Он молча слушал, перебирал губами, смотрел в пол. Я видел его в профиль. Это был самый несчастный профиль из виденных мною. Мы долго молчали, потом он сказал:

— Он был у меня...

Я ахнул.

— Ей-богу,— сказал он, кривясь, потом неожиданно рассмеялся, и я с абсолютной ясностью увидел генерала Бардина, протиснувшегося в сокольническую клоаку. Ни тетки, ни Кати дома не было. Володя выходил из своего очередного двухнедельного транса. Генерал аккуратненько постучал в дверь и затем приоткрыл ее. В полутемной комнате на полу, под клетчатым теткиным платком лежал, скрючившись, Максимов. Генерал вошел.

— Здравствуйте, Владимир Емельяныч.

— Ну,— сказал тоненьким голоском Володя,— кого еще Бог прислал?

Генерал представился, но это не произвело на хозяина впечатления.

— Что скажете хорошего?

— Как поживаете, Владимир Емельяныч?

Максимов выпростал небритое лицо, потряс край платка и заявил все так же тоненько, с хрипотцой:

— А вот так. Как мексиканский безработный... Вот так и живу!

Генерал, видимо, понял, что разговор о злополучной рукописи в такой ситуации бесполезен. Может быть, это была тактика, а может, он был ошарашен представившимся зрелищем, а может быть, был хорошо воспитан — не берусь судить. Они немножко поговорили о том, о сем, о житейском, о творческих процессах...

Генерал со скорбью наблюдал, как Максимов поднялся со своего матрасика, покачиваясь, дотянулся до выключателя. Загорелась лампочка на потолке. Безжалостно озарила это странное рандеву.

— Да вы не беспокойтесь, Владимир Емельяныч,— пробубнил генерал.

— А я, представьте, и не беспокоюсь,— сказал Володя, неуклюже натягивая брюки.

— Поразительно, — сказал Бардин,— как Союз писателей безучастен к нуждам своих членов! Что ж это они так?

— А это вы у них спросите,— сказал Володя.

— Да спросить-то мы можем,— усмехнулся Бардин,— а толк-то? Они ведь нам не подотчетны...

— Ой ли? — скривился Максимов.

— Честное слово,— сказал генерал и приятно улыбнулся.

...И вот генералы, видимо, как-то там сговорились, и Союз писателей предоставил Максимову однокомнатную квартирку на окраине Москвы, у черта на куличках, в пятиэтажном блочном бараке. Мы поехали туда. Максимов был доволен, но сдержан. Он похаживал из комнатки в кухоньку, до всего дотрагивался, все похозяйски ощупывал.

— Говно, конечно,— сказал, посмеиваясь,— но свое, приятно.

И начал обставляться. Я купил ему с новосельем дешевый пластмассовый абажурчик и сам же его приспособил в комнате.

— Ну, как? — спросил я, слезая со стула.

Он включил лампочку, поглядел и сказал, крайне деликатно оценивая мой труд:

— Ну что ж, вполне.— Однако ликования не было.

Я приехал к нему на следующий день. Абажурчик висел в кухне, а в комнате посверкивала люстра. Я смолчал, и он смолчал. Он был в бордовом махровом халате и в новых шлепанцах. Уже появился диван. На этом диване мы сфотографировались перед его отъездом в Париж. Я, он, Юлий Даниэль.

В общем, жизнь продолжалась. Пока там то да сё, Володя грыз гранит науки, что представлялось мне тогда несколько загадочным. Впрочем, я и сейчас не совсем отчетливо себе представляю, как он, получивший в свое время убогое четырехклассное образование, живущий черт знает где и черт знает как, погруженный не в покойное кресло философа, а в тяжкий быт и наши умопомрачительные будни, как он умудрялся учиться, обогащать себя знаниями настолько, что и самые записные умники, бывало, считали для себя честью вести с ним глубокомысленные беседы. Он много читал, читал жадно, осмысленно, въедливо, возбужденно. Познание доставляло ему наслаждение. Память была превосходная, но это же ведь подспорье. Главное заключалось в способности осмысливать мировую культуру по самому большому счету и, осмысливая, постоянно пребывать в состоянии лихорадочной полемики с авторами, не потакая без надобности, не унижая незаслуженно. Этот бывший беспризорник, не страдающий тщеславием, но по-человечески честолюбивый, страстно жаждал быть интеллигентом и, уж будьте уверены, мог легко отличить подлинного интеллигента от ничтожной претенциозной и массовой нашей образованщины.

Были ли у него недостатки? О, их было множество. Они огорчали одних, возмущали других, а некоторых доводили до неистовства. Но об этом как-нибудь в другой раз, если, конечно, так уж необходимо. А нынче я о достоинствах. Ведь были и они...

Был, было, были... Это в той жизни, московской, до той поры, пока его не выдавили из отечества, не лишили гражданства, оставив за собой право бездарно и самодовольно полемизировать с его часто справедливыми претензиями к нашему строю.

Времена меняются. Мы учимся милосердию, хотя он в нем не нуждается. Ежедневно, перелистывая газеты, я все время жду, когда же наконец удастся мне прочитать официальное обращение к нему, деятелю нашей культуры, начавшему свой путь от «Тарусских страниц».

«Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Считаем своим долгом известить Вас, что Верховный Совет СССР объявляет акцию по лишению Вас гражданства преступлением против личности и, торжественно возвращая Вам гражданские права, надеется, что Вы, преодолев в своем сердце горькую несправедливость былых обид и унижений. вновь осознаете себя полноправным членом нашего многострадального общества, крайне нуждающегося в Вашем участии».

Вот так.

Впрочем, это в равной степени относится и ко всем остальным.

P. S. Не так давно справедливость восторжествовала. Не так высокопарно, как я придумал, но все-таки. Тут уж не до высокопарностей.

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

О том, как меня Сахаров обогрел



ФОТО К. КОРНЕШОВА

Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем?.. Он сказал: не истреблю ради десяти.

Бытие, 18: 24, 32.

Вот, например, Ахматова в двухтомнике Л. Чуковской. Кому — новые смыслы, иные прочтения известных строк, а другому — не только это. «Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и от других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету*». По мне, это ставит Ахматову в очень особый ряд, и слова Мандельштама о поэзии ее — «символ величия России» обретают первичный смысл — нравственный.

Так, склонен думать, по-разному чтут святого румяный служитель культа и доходяга-прокаженный. Одному агиография лучится деяниями во славу и укрепление церкви, другому житие — тлеющее надеждой повествование об исцелении язв. И хотя вполне прав только третий — синтетик, которому все значимо,— я все же говорю: то, что Сахаров — ученый, для меня не суть важно. Ученых полно... По лагерному присловью: народу много, да людей мало.

А теперь — о голодовке.

Начальнику лагеря майору Рукосуеву

з/к Горемыкин

Объявляю смертельную голодовку, потому как без сапог пропавши.

Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление.

Другой объявляет голодовку, требуя срочно изменить конституцию или, там, демонтировать все советские ракеты.

* Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1, стр. 9.

«Голодай, голодай,— ободряют ключники.— Скопытишься — никто не почешется». Это верно, как правило. Но — где логика, и — где отчаяние? До нее ли, когда иссякли запасы терпения?

Лагерная неволя многолика, и каждый лик ее клыкаст на свой лад. Я сейчас о том, который грозит душе распадом и смертью.

Ежечасно, изо дня в день, годами и годами зэка пребывает во всесильной начальственной длани — то слегка придавит его, то отпустит на малый миг, чтобы потом ущемить еще больнее, а восхочет, так и вовсе расплющит, раздробит в мелкие дребезги, размажет в слякоть... И, думается, в этом один из первейших уроков стране, изрядная часть населения которой так или иначе пропущена через лагерную душедробилку-душегубку. Власть затем безоглядно цинична, что чем безоглядней, тем скорее должна перед ней преклониться в трепете всякая душа, осознать себя ничтожным прахом. И, заметил я, это работает.

Но голодовка, чем бы формально она ни мотивировалась, зачастую — отчаянный побег от начальственного всевластия, крепость, в которой на время укрывается измочаленная до смерти душа: отлежаться, зализать раны, укрепиться в самости своей. И начальники с начальничками нутром чуют эту побегушную суть голодовки. Хоть и не устают поощрять тебя («Давай, давай — быстрей коньки откинешь»), но это скорее инерционный бормот, к каковому положение обязывает,— глаза же их сочатся тайным раздражением: раб вдруг выпал из рабства, перестал дрожать, отказался от первейшего лагерного пряника — хлеба,— и сам подставился под главный лагерный кнут — голод. И... как с ним быть? Если глух к зову пряника и не страшится кнута (хоть на самую малую толику времени), то... как же так? Вся чекистская вселенная начинает опасно крениться... Впрочем, как для Пифагора «нет ничего без своего числа», так для чекиста нет никого без своего страха — и скоро он, вместо кнута голода, прибегает к другому. К холоду, например.

«Всем дали сапоги, мне не дали сапоги, прошу выдать сапоги. Заявление».

И через тройку недель, а то и через пару месяцев выносят бедолагу из голодовочной одиночки без сапог. Но это не суть важно — он выиграл более значительную битву. Тем более что если не сапоги, так башмаки он все-таки имеет шанс через какое-то время получить: начальство отчаянному давлению порой уступает, пятится — хоть и не вмиг, и не совсем в том направлении, в котором на него давят. Но, опять же, это для моего голодаря не суть важно. А важно, что, укрывшись в крепости голодовки, он спасся от чувства бессилия, отчаяния и связанной с ними разъедающей душу ненависти не только к врагам своим, но и — через них — чуть ли не ко всему миру, такому холодному, когда глядишь на него из-за проволоки.

Так и я на исходе 77-го года объявил голодовку, потому что — хоть в петлю. Правда, я не сапог требовал, а всего лишь всеобщей амнистии. А почему бы и нет?

Мне несказанно повезло: тут у Алика Мурженко случилось свидание, и как-то он исхитрился намекнуть, что я бросился в голодовку не просто так. Жена же его потом через Москву возвращалась и — к Сахарову. Я, разумеется, обо всем этом и знать не знал, поскольку моя одиночка — два метра в длину, метр в ширину — не только за двойными дверьми, но и в самом углу ниши, отрезанной от общего коридора решеткой.

К голоду я довольно скоро притерпелся — к концу второй недели организм, как известно, перестраивается на самопоедание, и желудок уже не вопит о пище. Зато меня холод донимал — декабрь стоял, за двадцатые перевалило, и мороз тоже за двадцатку сигал. Начальство, как и с голодом, со стужей всегда в сговоре — знает, что тощего холод куда сильнее когтит, и потому печка моя — не теплее покойника. Одежонка лагерная и без того сквозистая, а тут у меня и вовсе всякую лишнюю тряпицу изъяли. Выручал чайник с кипятком — дважды в день. Я грел о него руки, потом укутывал одеялом и прилаживал к покатым его боком ноги. Только когда он вконец остывал, прикладывался к оловянному носику — теплая водица отдавала вкусом отчаяния.

Ближе к полудню в карцерном закутке брякала решетчатая дверь, и начиналось обнадеживающее шевеление возле печки.

— Эй ты,— надрывался я через двери,— чего не греешь, как надо?

Отвечал не истопник, а нависший над ним надзиратель:

— По норме топит — восемь кэгэ на рыло.

Мне не впервой, знаю: полпуда дров — не Бог весть что, но все же хоть на пару-то часиков, а можно печку натеплить. А тут...

Только позже я узнал, как оно все обстояло,— от истопника, нашего же брата, но угодливого, поклончивого, давно и навеки испуганного, из тех, что всю жизнь сидит, желтея лицом при виде погон. Ему и в самом деле выдавали полупудовую вязанку, но не из штабеля под навесом, а всякого осинистого дрянца. Главное же, не пускали поколдовать возле печи, пока дрова займутся, а так — разжег и пошел вон. Потом решетку в закуток — на ключ, и больше к печи не подступиться. Дровишки потлеют-потлеют и увянут.

Бывало, под вечер, когда надежды на вторичное появление истопника вконец испарялись, я выплескивал чайник в парашу и давай колотить им о решетку — уши закладывало от железного гула. Спустя изрядное время являлся дежурный офицер. Беседы наши не блистали разнообразием. Я ему, норовя выровнять дыхание: «Замерзаю»; он мне язвительно: «Топим по норме». Иной, если не ленивый, даже заходил в мою конуру и прикладывал ладонь к печному кожуху, чтобы тут же отдернуть, как бы обжегшись.

Но как-то совсем утром коридорная решетка скрипнула странно, послышались вороватые шажки, откинулась кормушка, и в ней — пьяненькая физия надзирателя. Из тех, что не то чтобы записной добряк, но и не сволочь, главное же — знавший меня лет 15, чуть ли не с первого моего бушлатного года. И — шепотком-шепотком — поведал, что у лагерных ворот — вот уже пятый день — Сахаров с женой, требуют свидания. И «голоса» кричат...

Время поползло к полудню, когда в камеру не без труда просунулся бравый подполковник Романов — главный чекист в системе мордовских лагерей. Румянец в полщеки, простодушно разляпистый нос, однако глазок острый, сильно хитрый, подмигивающий, уклончивый...

И впервые вместо традиционного: «Давай, давай голодай» прозвучали слова уговора.

Еще бы: с приездом Сахарова голодовка — уже не местное событие, и московское начальство рявкнуло со своих высот: «Прекратить!» Ему ведь — высокому-то начальству — и на меня и на Романова равно плевать — лишь бы шум закордонный унялся. Будет ли оно с каким-то там захолустным подполковником церемониться, если он оплошает и дело не уладит? А тут еще Сахаров — нет чтобы в Доме колхозника мирно чаек попивать, с клопами воевать — по поселку шастает, разговоры с туземцами разговаривает,— выходит, за каждым кустом тихушника сажай да что ни вечер рапорт в Москву строчи. И сынок этой Боннэр зачем-то вдруг мелькнул. Не привез ли чего и какое поручение увез с собой в Москву? Сильней же всего сосет — угадать, зачем это все? Не может же, ну никак не может того быть, чтобы сам Сахаров прикатил в задрипанную Мордовию просто так — ободрить, дескать, какого-то там зэка... Не-ет, тут что-то не то, неспроста все это...

Оно, конечно, по-своему лестно и даже обещающе местному чекисту мелькать рапортами перед московскими боссами, ну а вдруг чего не так, да и вина за всю эту шумиху, как ни крути, на нем лежит — голодарь-то его епархии...

А Сахаров с женой все бродили да бродили по сугробам вокруг лагерной зоны — целых десять дней. Свидания со мной им, разумеется, не дали. Да они и с самого начала знали, что не дадут.

Я — Романову: какие, мол, разговоры, когда зуб на зуб не попадает. И вообще, чуть-чуть блефанул я, чем вы ко мне хуже (хоть бы и с холодом этим), тем злость моя круче — одна она и держит меня. И глаз нарочно зазуил, заострил — ненависти подпустил.

Подполковник удалился. Вскоре брякнула, пропуская истопника, коридорная решетка, громыхнули и рассыпались по полу сухие дрова, и еще раз, и третий...

А потом в кормушку всунулась все та же хмельная физия:

— Сколько он еще пробудет?

— Кто?

— Сахаров.

— А я откуда знаю?

Он кольнул недоверчивым глазом.

— А тебе-то что? — ответно полыхнуло во мне подозрение.

— Да я в том смысле, что в магазин вон шамовку забросили — перед Сахаровым выставляются.

(Так ли, не совсем ли так оно было, но позже мне случилось слышать от «вольняшек», что вот пришли Сахаровы в сельпо, а там, известное дело, шаром покати. Они и давай названивать в Москву, чтобы им кто-нибудь из родных или друзей привез съестное. Начальство всполошилось, и на другой или третий день в сельпо завезли молоко и масло... на радость местному народу.)

Я голодал еще довольно долго — в общей сложности шесть недель,— но теперь уже не только не мерз, но и форточку напрягался приоткрыть. Однако тщетно — заколочена намертво и зимой и летом: свежему воздуху втекать запрещено.

Печка моя дышала запредельным жаром — даже оконная наледь истончилась, обнажив овальной формы проем. Если встать на нары, сильно перегнуться вправо, выкрутив шею еще правее и вверх,— проем совпадает с щелью в оконном наморднике: за паутиной колючей проволоки над дощатым забором виднеется грязный рубец железнодорожной насыпи. Вот прокатил закутанный в белесое облако тупорылый паровичок — чуть слышно, раздельно стучат по стыкам ленивые колеса. Если еще и еще поднапрячься и взять правее — клок поля: под невеселым солнцем голубовато поблескивает колючий снег — словно декорация к злой сказке. Меж снежных холмиков — серый изгиб колдобистой тропинки, редкие фигуры в неуклюжем, черном спешат, оскальзываясь, напряженно горбатясь на ходу. Вот один, вполне высокий. Но, конечно, это не он. Он уже уехал. Да и не может он вот так суетливо перебирать ногами и горбатиться. Он прямо ходит...

Не-ет, ничего... ничего... Жить все-таки можно. Не так уж все оно и безысходно.

К печке не притронуться — хоть блины на кожухе пеки.

Ноябрь 1984.

ТАМАРА ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

«ОБОЖЖЕННЫЙ» ШОСТАКОВИЧ

Невероятно трудно представить себя гостем величайшего музыканта всея земли, да еще в дни, когда болезнь вынуждает его ограничивать контакты. Трудно представить, что он сам встретит тебя в коридоре своей московской квартиры и, торопливо извиняясь за то, что не может помочь снять пальто (болит рука!), пригласит в кабинет. И ты, еще не веря в реальность этой большой комнаты, освещенной мягким вечерним светом, покорно отдаешься его трогательным заботам. А он все пытается усадить тебя в «главное» кресло у стола, сам же пристраивается где-то сбоку... И тут ты наконец приходишь в себя! И начинаешь спорить, настаивать, требовать, чтобы сам хозяин занял «главное» место. Он же упорно сопротивляется. Сцена затягивается, приобретая черты чистейшей гоголеады.

— Я и так здесь долго засиживаюсь, понимаете ли,— бросает он беглой скороговоркой, усаживаясь-таки в кресло, а поймав взгляд гостьи, брошенный на рояль, прибавляет тоном ниже, словно про себя:— Играть-то уже не могу...

И вот он наконец перед тобой, великий диктатор и властелин музыкальной вселенной, восседающий за необъятным, безукоризненно прибранным столом! Ни одного лишнего предмета в его окружении. Никаких признаков поспешно прерванной работы или отложенных занятий. Ни листа бумаги или элементарной газеты. Ничего. Только он — и чистое поле письменного стола. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, излучающий могучую ауру клокочущего в нем мира...

Как же это случилось, что я очутилась у него в гостях?

Стоял февраль 1970 года. И прошло уже четыре месяца с тех пор, как впервые в Большом зале Московской консерватории была исполнена Четырнадцатая симфония. Между тем столичная пресса молчала. Кроме краткой информации о состоявшейся премьере, не было опубликовано еще ни единой строчки, где бы дана была оценка новой симфонии Шостаковича. Что означала сия фигура умолчания — было абсолютно ясно. Непривычку вслух размышлять, а тем паче писать о трагическом. Ведь Шостакович сочинил симфонию о смерти. Да-да, одиннадцать симфонических песен о смерти на стихи Лорки, Аполлинера, Рильке, Кюхельбекера. Это был подлинный шок. В канун столетия со дня рождения В. И. Ленина от Шостаковича ждали совсем другой симфонии. Но композитор, как известно, был непредсказуем и... неуправляем. Он давно разошелся с официальным «календарем». Время стояло холодное. Страну стали покидать писатели, художники, музыканты. Начались политические суды над инакомыслящими. В жизнь входили ранее не известные слова «диссидент», «узник совести». Как говорил писатель Василий Аксенов, к концу 60-х годов мы из «рассерженных» уже превратились в «обожженных».

Издревле творит трагедия свой парадокс над людьми, посылая им два противоположных эмоциональных потока — скорбь и радость. Творит «наслаждение» страданием. Потому что, показывая человека в беспощадной схватке с враждебными ему силами, трагедия будит сострадание и светлое, укрепляющее волю чувство, которое после аристотелевой «Поэтики» известно под названием «катарсиса» (очищение).



ФОТО ГЕНАДИЯ АНДРЕЕВА

Четырнадцатая симфония — может быть, самая беспощадная и мужественная из трагедий Шостаковича. Но пафос скорби и пафос обличения и просветления, сливаясь в единый поэтический поток, несут атмосферу того мудрого приговора, который великий поэт и философ Гете однажды выразил словами: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил».

Так или примерно так размышляла я и писала о Четырнадцатой симфонии в те памятные дни рубежа 60—70-х годов. И первая моя статья «Композитор перед вечной темой» была опубликована в Вестнике АПН «Культура и искусство» 22 октября 1969 года и вскоре перепечатана французским « Journal musical francais » и другими зарубежными журналами и газетами. Однако вторая статья о новой симфонии Шостаковича, написанная для «Комсомольской правды», лежала без движения...

Трудно сказать, как сложилась бы судьба этой второй статьи, если бы не энергичная деятельность Олега Тимофеевича Иванова, возглавлявшего в те годы редакцию литературы и искусства в газете. Человек большой культуры и острого, смелого ума, он как никто (так мне казалось) понимал всю нелепость и неестественность складывающейся атмосферы молчания вокруг симфонии Шостаковича. «Молчание — это не выход,— говорил он.— А вы попробуйте объяснить сложное в искусстве, да так, чтобы тебя поняли и тебе поверили. Для молодежи в моменты восприятия нового очень важно доказательное слово критика-искусствоведа». Мы долго обсуждали и редактировали статью. Очень долго и настойчиво боролся Иванов за ее публикацию. И наконец это удалось. 11 февраля 1970 года под заголовком «Вечная, как само искусство» моя статья была опубликована «Комсомольской правдой». Ей был предпослан красноречивый эпиграф: «Творить — значит убивать смерть» (Ромен Роллан)...

И случилось непредвиденное. Спустя несколько дней после выхода статьи, а точнее, 16 февраля, мне позвонил Максим Шостакович и передал, что завтра, то есть 17-го, композитор может принять меня, если мне удобно, в 17 часов, на своей московской квартире. Зная, как серьезно был тогда уже болен Дмитрий Дмитриевич, помнится, я ужаснулась. До сих пор не понимаю, что побудило его пойти на эту встречу: удивительное ли его внимание к людям, порой даже очень ему далеким, стремление ли поощрить журналиста, свершившего свой маленький «подвиг» (впрочем, нет-нет, такое трудно представить!), или обыкновенное любопытство к личности, так неожиданно возникшей на обозримом горизонте. Скорее всего, ни то, ни другое, ни третье, а что-то такое, о чем я никогда уже, к сожалению, не узнаю. Только была во всей этой истории какая-то болезненная нота, натяжка, дискомфорт и странное двойственное ощущение необязательности и в то же время неизбежности того, что должно было произойти. С трепетом и дико падающим куда-то вниз сердцем поднималась я в лифте на седьмой этаж в квартиру Шостаковича на улице Неждановой. И все заглядывала в свой журналистский блокнот, где под датой 17 февраля были уже написаны какие-то тезисы, вопросы, наброски. Ах, Боже мой, все это было не то, все это было нелепо и в высшей степени несущественно в сравнении с тем, что мне предстояло просто поговорить с великим человеком, увидеть близко его глаза, ощутить движение его мысли.

Вот что предшествовало этой «гоголевской» сцене вокруг кресла.

А теперь мы уже сидим чуть успокоенные друг против друга, и кто-то из нас должен «начинать». И вдруг я, к ужасу своему, ощущаю, что не могу вымолвить ни единого слова, потому что от него идет ко мне какая-то жгучая волна недовольства собой, чувства преждевременной вины за несовершенство еще не сказанных слов, еще не сделанных жестов и движений. И он ужасно нервничает, как-то замыкается, отворачивается, нетерпеливо потирает руки, словно сердится, предчувствуя, сколько будет сказано «бесполезных» слов. Домашние туфли то и дело спадают с его беспокойных ног, и он вдруг резко нагибается всем корпусом, чтобы обеими руками еще и еще раз водрузить их на место. Борьба с туфлями, однако, затягивается. И чтобы, повидимому, компенсировать эту неудачу, он вдруг набрасывается на меня, прерывая наконец молчание и неловкость самым неподражаемым образом:

— Что это у вас? Блокнот? Пожалуйста, закройте его и спрячьте подальше. Надеюсь, у нас не интервью. Вся эта писанина, все интервью — никчемное дело. Вон сколько их напечатано, а что толку? Читаешь потом — совсем не те слова. Выбросить все это нужно. В корзинку! В корзинку! На свалку!..

И делает уничтожающе-сердитый жест рукой, отбрасывающей НЕЧТО. А потом вдруг, смягчившись несколько, говорит:

— Я понимаю, конечно, что вы пришли ко мне не для того, чтобы поговорить о... хозяйстве.— И что-то вроде лукавой усмешки проходит по его лицу.— Но, понимаете ли, с тех пор, как в 1948 году меня уволили и я перестал преподавать в консерватории, я постепенно разучился говорить о музыке. Да и разве расскажешь о самом сокровенном?..

На какой-то миг в его голосе проскальзывает интонация мягкая, детски беззащитная, даже растерянная. Но через секунду он уже бросает сердитую реплику, сверкающую, точно лезвие на солнце:

— О музыке, как о любовнице, не станешь распространяться! Не станешь, понимаете ли...

Оказывается, свежи у него раны 1948 года, воспоминания о гонениях на космополитов и «формалистов-какофонистов» после пресловутого постановления ЦК ВКП(б) о музыке. Свежи, никогда не зарастали и не зарастут. Но, как поется в Тринадцатой симфонии на слова Евтушенко, «хотели юмор убить, а он показывал кукиш!». Сердитый и озорной, страдающий и обличающий, Шостакович — композитор и человек — это одно лицо, одна-единственная всеобъемлющая личность. Только в нем уживаются рядом, составляя причудливый комплекс, доброта и беспощадность, непреклонный фанатизм и полудетская застенчивость, скорбная мина трагика и сатирическая гримаса фельетониста. Пожалуй, лишь у Шекспира так близко смыкались великое и смешное, трагедия и фарс.

Но Шостакович не любит высокопарных слов. Я чувствую это теперь здесь, с ним рядом, совершенно отчетливо. И начинаю почему-то думать, что моя статья о симфонии могла ему не понравиться, как могут не нравиться вообще всякие слова о музыке...

И все же разговор о «музыке-любовнице» каким-то образом сложился. Речь шла главным образом о вкусах и пристрастиях, о музыке современной и прошедших веков, о «влиятельных» фигурах композиторов-классиков, чья музыка не «застывает» и продолжает развиваться в наши дни. А, в самом деле, не умер ли для современных композиторов-новаторов XIX романтический век?

— Да нет же, это все ерунда, что умер XIX век! — воскликнул Шостакович.— Он ведь жив, как живы и XVIII, и XVII, и даже XVI века.

А потом, без всякого перехода, вдруг спросил:

— Вы любите Даргомыжского?

— А вы кого любите?

И он, забавляясь этой детской игрой, повторил ставшую уже хрестоматийной фразу: «Я эклектик, люблю всю музыку от Баха до Оффенбаха!» И еще раз повторил: «От Баха до Оффенбаха!» — с упрямой рьяностью давно заученного школьного урока.

Ну, кто не знает об этой замечательной «всеядности» Дмитрия Дмитриевича, созданной им самим для сокрытия своих очень четких, стойких и дифференцированных пристрастий? Никогда он не любил, например, ни Скрябина, ни Дебюсси, и, что очень жаль, не любил Рахманинова, особенно его фортепьянные концерты. И я натолкнулась на этот парадокс в нашей беседе, когда речь зашла о самых «живых» композиторах-классиках, бурно «прорастающих» в музыке новых поколений. Ведь как возрождается на наших глазах, например, Моцарт!

— Но кто мертвым родился, тот уже не возродится,— буркнул Шостакович и тут же умолк, загадочно блеснув очками.

Стоило мне только упомянуть имя Рахманинова, как он вскинулся:

— Вот уж кто никогда особенно не влиял — ни раньше, ни теперь. У него, правда, есть хорошие романсы — «Сирень», например... А фортепьянных его концертов я слышать не могу!

И стал сердито вновь напяливать на ноги спадающие шлепанцы.

Тут мы чуть не поссорились. И, позволив себе вслух с ним не согласиться, я осмелела достаточно, чтобы прокурорски вопросить: «Кто ваши духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич?»

А он злился, и упрямился, и торопливой скороговоркой повторял свое излюбленное: «Я эклектик. И на меня оказывали влияние решительно все!»

И только когда я все-таки уточнила: «Ну, а если обратиться к самым юным временам?», он на секунду задумался, а потом сказал твердо:

— Соллертинский. Иван Иванович Соллертинский. Он формировал мое мировоззрение. Сейчас у нас его почти забыли. Мало что сохранилось из его наследия. Некоторые теперь изображают его эдаким забавным рассказчиком-анекдотчиком. Мне это не нравится. Да, Соллертинский был музыкальным эрудитом, в основном устного дара. Но дара — гениального!

Меня поразила эта огромная тирада о друге-музыковеде — свидетельство глубоких и неизменных чувств композитора. И в памяти моей возникло острое воспоминание военных лет, когда в Новосибирске в день премьеры Восьмой симфонии Шостаковича нам, девчонкам-шестиклассницам, довелось услышать пламенное слово Ивана Ивановича о музыке Шостаковича, о его новом симфонизме, о праве художника на трагедию. Я рассказала об этом давнем единственном впечатлении Дмитрию Дмитриевичу и видела, как нарастает его волнение. Ведь в момент неожиданной смерти Соллертинского Шостакович жил в Москве и был совершенно сражен долетевшим из Сибири известием. И вскоре принялся за создание Трио памяти И. И. Соллертинского...

— А какую статью написал он об Оффенбахе! — вдруг добавил он мечтательно.

Мне показалось, разговор о Соллертинском растопил ледок отчужденности настолько, чтобы не бояться более ни острых слов, ни нелепых вопросов, ни резкого неприятия или несогласия. И наш диспут вступил в самый горячий круг. Речь зашла о творчестве молодых композиторов и их увлеченности новыми техническими системами. Я неосторожно упомянула о музыке «ортодоксальной» и о музыке «авангардной», позабыв совершенно о жгучей ненависти Шостаковича ко всякого рода теоретической терминологии. Боже, что тут началось!

— Ортодоксальная музыка? Я такой не знаю! — кричит он, яростно потирая руки.— Авангард? — почти взвизгивает он.— Опять же, что это такое? Если то, что принято считать «авангардом» на Западе, то в большинстве случаев это ужасная гадость (так и сказал с каким-то присвистом: «гадосссть»). Если же говорить о нашем «авангарде», то опять-таки я не вижу никакого авангарда, а вижу сочинения хорошие и плохие.

Мы начинаем перебирать имена молодых композиторов: «нравится» — «не нравится», «плохой» — «хороший». И чем дальше, тем более становится ясно, как совестлив и человеколюбив добрый Дмитрий Дмитриевич, как ему ужасно не хочется кого-нибудь обидеть, о ком-то забыть упомянуть. Нет, лучше не заставляйте его перечислять всех композиторов, которых он любит, все новые произведения, которые ему понравились. «Список получится огромный!» — предупреждает он.

Но я уже знаю, что стоит только как бы невзначай натолкнуть Шостаковича на импонирующее ему явление, как он сам начинает говорить увлеченно, не опасаясь излишним вниманием, так сказать, возвеличить ту или иную фигуру. Нужно только найти предмет.

И предмет находится. А вернее будет сказать: он рождается как бы из механического перечисления. Вот он перечисляет фамилии интересных, с его точки зрения, молодых композиторов. Здесь и Борис Чайковский, и Сергей Слонимский, и Борис Тищенко, и Альфред Шнитке, и Родион Щедрин...

И вдруг — остановка. И вопрос:

— Вот вы говорите «авангард»! А что такое, к примеру, Родион Щедрин? Авангард или не авангард? Но какое это имеет значение?

И, довольный возникновением этой пленительной фигуры, он продолжает увлеченно:

— Это очень талантливый композитор. Все его последние сочинения замечательны. И Вторая симфония, и Второй фортепьянный концерт, и великолепная «Кармен-сюита», и «Поэтория», и, наконец, самое последнее сочинение — оратория «Ленин в сердце народном». Из-за болезни я не смог пойти на концерт, но дважды слушал ее в записи. Замечательное сочинение.

Я спрашиваю моего собеседника, как он относится к своеобразному тексту оратории, где использованы, помимо известного плача о Ленине народной сказительницы М. С. Крюковой, воспоминания бывшего латышского стрелка Бельмаса и какой-то фабричной работницы Наторовой. Нет ли в длинном умилительном рассказе о пуговице, пришитой рукой простой работницы к ленинскому пальто, некоторой передержки, «заземления» образа?

— Может быть, мера слегка и нарушена,— задумывается Дмитрий Дмитриевич, но вдруг снова оживляется, вскидывается, словно натолкнувшись на искомую поправку:— Но знаете что? Не имеет значения, что речь идет о каких-то мелких бытовых подробностях. Вы читали когда-нибудь рассказы Зощенко о Ленине? Удивительные вещи! Рассказывается, казалось бы, о пустяках: как Ленин ходил в парикмахерскую, как плавал в озере, как пил чай и разговаривал с печником... Вот почитайте, почитайте еще раз! И вы увидите, что образ при этом не принижается, а, напротив, возвеличивается!

И каким-то особенно театральным движением рук, словно поднимая кверху и раскрывая тяжелый фолиант, мой собеседник зримо завершает свою мысль.

Этот жест я никогда не забуду. Он воплощает в моем представлении удивительную цельность и последовательность этого человека, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить верность избранным еще в юности идеалам. И не только сохранить, но и продлить диалог с ними через десятилетия.

Ленин, Зощенко, Соллертинский... Нет, не случайно возник этот ряд в нашем разговоре. И не ради какой-нибудь демократичности или красного словца к празднику. Все это был мир Шостаковича и его жизнь, которую он привык всегда в себе нести — всю, целиком, ничего не теряя.

Ни одной мысли, ни одной художественной находки, ни одной детали ритма, композиции, инструментовки не утратил на своем многотрудном пути Дмитрий Шостакович и лишь обрел в конце его высшее чувство гармонии, чувство Космоса, соединяющих навсегда Человека, Судьбу, Эпоху, становящихся единой Историей.

...Дмитрий Дмитриевич сам провожал меня в коридоре. И снова смущенно извинялся за больные руки.

— Вы идете теперь в Большой зал? Слушать новый скрипичный концерт Цинцадзе? Прекрасный композитор. Завидую вам...

И уже закрывая за мной дверь, вдруг вспомнил почему-то, что еще может мне чем-то помочь. И выглянув еще на один миг, с ребячливой светлой улыбкой сказал: «Не забудьте нажать вон ту кнопку — и к вам придет лифт...»

Я шла к улице Герцена, к Большому залу консерватории. Сердце билось где-то в висках. И в душу входило какое-то новое предощущение будущего, в котором не могло не быть Шостаковича и где жизненный и художнический подвиг его будет переосмыслен.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСЕ ВЕНЧАЕТ ГАРМОНИЯ

ВИКТОР ТРОСТНИКОВ,
писатель

Политический ликбез, который понадобился нам на семьдесят четвертом году функционирования «самой совершенной в мире» политической системы,— прелюбопытная штука. На его занятиях ставятся, казалось бы, азбучные вопросы, а вдумаешься, и оказывается, что в них бездонная глубина. Конкретный пример: желая усвоить хотя бы самые общеизвестные истины научного обществоведения, люди спрашивают: что должно быть поставлено выше — права индивидуума или права нации? И ждут краткого ответа, не сомневаясь, что уж такая-то простая вещь давно выяснена учеными. На самом же деле ни социологи, ни политологи, ни даже философы выяснить тут ничего не способны, ибо проблема эта выходит за рамки мирских наук и может получить удовлетворительное решение лишь в русле предельно широкого подхода, учитывающего невидимые аспекты мироустройства, т.е. подхода **религиозного**.

Поэтому прежде поставим другой, вспомогательный вопрос: в чем смысл человеческой жизни? Хотя светские ученые считают его неразрешимым, для христианина он элементарно прост. Задание и цель нашего земного существования — превратить вложенный в каждого из нас Божий образ в Божье подобие. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5, 48). Мы должны стараться подражать Богу, быть на Него похожими — в этом и заключается смысл нашей жизни и никакого другого смысла в ней нет и быть не может.

А теперь сделаем следующий шаг: уточним, **какой** Бог имеется в виду в наших рассуждениях. Конечно, Бог наших предков — Бог христиан. И тут обнаруживается нечто поразительное, о чем редко задумываются даже сами христиане: этот Бог есть Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Как же человек может быть похож сразу на три лица? А если только на одно из них, то на какое именно?

И вот тут-то начинается самое интересное. То, что Бог есть Троица, мы узнали через откровение: осененные вышней мудростью участники Вселенских Соборов IV века извлекли этот факт из Священного Писания и создали «Тринитарное богословие», составившее основу всей церковной догматики. Это сложное умственное построение даже верующим нередко кажется сугубо отвлеченным, а уж что касается атеистов, то они называют его не иначе, как бесплодной схоластикой. Но при более вдумчивом подходе оно оборачивается самой что ни на есть практической вещью: единственным ключом к пониманию важнейших аспектов людского жизнеустроения.

Мы сказали: человек должен стремиться к богоподобию. А **какой**, собственно, человек? Рассматриваемый изолированно от своих собратьев, как Робинзон на необитаемом острове, или же взятый в более общем плане, образующий какое-либо сообщество — род, племя, нацию, государство? В самом термине «человек» нет еще указания на то, единичный он или множественный. Например, когда говорят «человек не должен ждать милостей от природы», это утверждение можно трактовать как отнесенное к отдельному лицу, так и к народу. Обе ипостаси чрезвычайно важны, и каждая из них не может существовать без другой. Робинзон достиг процветания только в книге Дефо, которая была манифестом коренящейся в протестантизме идеологии индивидуализма, а все реальные люди, выброшенные морем на незаселенные берега, неизменно деградировали и становились звероподобными. Человек не может существовать вне множества себе подобных, т.е. является типично **социальным** видом. Более того, органично сложившееся людское сообщество наделяется как бы собственной душой, не являющейся суммой душ составляющих его индивидуумов. Как пишет И. Шафаревич, «по-видимому, необходимо существование какой-то промежуточной инстанции между индивидуальным человеком и всем Космосом. Только посредством этой инстанции человек способен почувствовать осмысленность своего существования в Истории и в Космосе». Этой необходимой промежуточной инстанцией он считает нацию.

Так какая же ипостась человека должна уподобиться Богу? Я думаю, после напоминания о Троице ответ напрашивается сам собой: ОБЕ! Идеалом для коллективного человека должна быть Троица, идеалом для индивидуального человека — Второе Лицо Троицы, Сын Божий, Иисус Христос. Если такое двойное богоподобие будет достигнуто, тогда вопрос «у кого должно быть больше прав — у нации или личности?», с которого начался наш разговор, станет равносильным вопросу «кто имеет более высокий ранг — Троица как единое целое или же входящие в нее Божественные Лица?» А на этот вопрос догматическое христианское богословие дает четкий ответ, в кратчайшем своем виде выражаемый двумя удивительными формулами: «1=3; 3=1». Математик усмотрит здесь «антинаучность в квадрате»: во-первых, неверны сами равенства, во-вторых, можно было бы написать только одно равенство, а второе вытекало бы из него в силу свойства симметричности. Эта кажущаяся несообразность вводила в соблазн многих, в частности ею возмущался Лев Толстой, который отказывался понять, почему религия, отстаивающая идею единобожия, исповедует в то же время троичного Бога. А ведь объяснение тут очень простое. Бог, являясь Творцом всего сущего, сам «безначален», т.е. пребывает за пределами тварного бытия и регулирующих его соотношений. Там, где находится Бог, нет ни времени, ни пространства, ни арифметики, там вообще нет никаких структур, а есть один чистый смысл. А смысл приведенных равенств очень глубок, он гораздо глубже того, что может выразить арифметика. Первое равенство — «1=3» означает единосущность всех Лиц Троицы, которые суть разные ипостаси одного и того же Бога. А второе — «3=1» описывает нераздельность Троицы, сплавление в Ней входящих в Нее Лиц. И проблема ранга здесь автоматически снимается: ясно, что ранг Троицы и каждого Ее Лица совершенно одинаков. И не механически уравнен, а просто один и тот же по самой сути, так что даже ставить вопрос о чьем-то преимуществе бессмысленно.

Если это рассуждение покажется читателю неубедительным, я попрошу его вспомнить рублевскую икону и сказать: что в ней доминирует — целое или его части? Ни то, ни другое, там полная гармония между ними. Такая же гармония должна существовать между интересами нации и интересами личности. Она может быть достигнута только при условии духовности и нации, и личностей. На иных путях конфликт неизбежен и непреодолим.

ПОЧТА РУБРИКИ

ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ ФАМИЛИЙ



Кутузовы, Багратионы, Барклаи де Толли, Васильчиковы, Вельяминовы, Голицыны, Давыдовы, Кайсаровы, Кологривовы, Лавровы, Нарышкины, Олсуфьевы, Рахмановы, Толстые, Трубецкие, Тучковы, Шаховские, Эммануэли — знаменитые фамилии участников Отечественной войны 1812 года. Родственники этих людей живы и поныне. Многие из них входят сегодня в Совет потомков — старейшее московское объединение генеалогов-любителей.

Корни этого движения уходят в 1909 год, когда известный русский историк В. Афанасьев (1873—1953) основал Кружок ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года. Велась научно-исследовательская работа, издавались труды, выявлялись потомки участников. Революция, гражданская война и последовавшее затем забвение исторических традиций прервали эту важную деятельность.

Конечно, она не прекратилась совсем — бережно, как очаг в непогоду, ее охраняли Ю. Шмаров, С. Голицын, А. Григоров, А. Сапожников, В. Казачков.

Теперешний Совет потомков объединяет, старомодно говоря, ревнителей Славы русской истории. В разное время с Советом сотрудничало до 1000 потомков участников Отечественной войны.

Еще в 1913 году известный русский историк В. Чернопятов писал: «Уже давно назрела необходимость иметь полный, подробный, исторически правильный список тех, кто, горя любовью к отчизне, в грозную годину, на полях брани, грудью отстаивал ее национальную самобытность — труд, который был бы достоин их светлой и святой памяти; между тем... юбилей изгнания из пределов отечества двунадесяти языков уже прошел, но до настоящего момента такого списка еще не существует».

С тех пор прошло более 75 лет, и мы с горечью должны констатировать, что такого списка-памятника до сих пор нет. Особый наш долг — перед пролившими кровь.



А.А. Сапожников



А.П. Сапожников











П.И. Багратион
А.Д. Балашов
Р.И. Багратион
П.И. Балабин
Александр I

На мраморных стенах храма Христа Спасителя были когда-то записаны имена убитых, раненых, контуженых и пропавших без вести в 1812—1814 гг. Но храм и сам погиб. А список помещенных там имен хотя и был издан в 1883 году, но оказался далеко не полон, содержал много неточностей и, по оценке историков, «в научном отношении был почти бесполезен».

Решено продолжить работу в этом направлении: создать Картотеку персоналий и Генеалогического фонда семей участников первой Отечественной войны. Ставим также задачу поиска и сохранения могил участников войны, памятных знаков и мест, сбор иконографии. Нами разработаны унифицированные формы карточки и родословной, заполнены образцы, и мы готовы их выслать всем, кто пожелает участвовать в этом коллективном труде.

Отечественная война потому и называлась отечественной, что она была всенародной. И упоминавшийся Кружок издал в 1912 году список 543 потомков генералов, штаб- и обер-офицеров по мужской линии, участвовавших в Бородинском сражении. Конечно, это ничтожно малое число, так как счет, вероятно, должен вестись на тысячи и десятки тысяч.

Мы сотрудничаем с государственными архивами, музеями, библиотеками страны, с вновь образованными в Москве Историко-родословным обществом и Дворянским Собранием. Мы верим в существование огромного количества сведений и документов, хранящихся у потомков участников тех событий. Приглашаем всех любителей отечественной истории быть участниками и соавторами образующейся коллекции — Картотеки и Генеалогического фонда — хранилища памяти о наших предках.



СЕРГЕЙ САПОЖНИКОВ,
председатель Совета потомков участников Отечественной войны 1812 года



ЗИНАИДА ГИППИУС

«О ДНЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ. 1914—1918»



Странички из дневника*

Это несколько отрывков из первой части моей петербургской «Современной Записи» (которая составит отдельную книгу) [1]. Вся «Запись» обнимала годы 1914—1919. Но уже в середине 19-го ее не было в СПБ: в разное время, разными людьми, по частям, куда-то увезенная, она с полным основанием считалась безвозвратно погибшей. Можно себе представить, как поразило меня неожиданное ее возвращение (только первой части: годы войны, революции, больш. переворот). Но поразили меня и некоторые страницы рукописи: таким невероятным кажется теперь, через десять лет, то, что было. А дневник, запись непосредственная,— не то, что мемуары; она воскрешает прошлое с его мелочами, с его атмосферой, передает темы времени. Именно это легче всего забывается. Как нам важно, однако, не терять образ прошлого,— особенно такого, как наше,— а все пристальнее вглядываться и вдумываться в него!

Я не делаю в «Записи» никаких современных изменений: пусть будет, как было. Общая внутренняя линия дневника остается моей и теперь. Что касается внешних, фактических ошибок,— я знаю, они, при любой добросовестности, неизбежны: ведь это все-таки запись лишь одного из свидетелей, к одному из русских социальных кругов принадлежащего, притом не участника событий, а лишь наблюдателя. Исправить фактические ошибки и неверности могут другие живые свидетели, их много: давность-то всего десятилетняя!

Но частица объективной правды есть в этом документе, и она, я надеюсь, послужит на пользу тем, кто не ищет милосердия забвенья,— «милосердия слабых»,— и понимает, что в иные времена и забвение «смерти подобно»...

14 (27) марта 1917 г. Вторник.

Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы все с ним неудержимо расцеловались.

Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически бодрый.

...Керенский — тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчек с моего стола во время какого-то интеллигентского собрания... Тот же Керенский, который недавно говорил речь за моим стулом в Рел. Фил. соб., где дальше за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале сблизив два лица, смотрела в них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти — рядом. Лицо Керенского — узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребяческо-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая II, спокойное, незначительно-приятное, с красивенькой мертвячинкой (и, видно, очень схожее). Добрые... или нет, какие-то «молчащие» глаза. Он был — точно отсутствовал. Страшно был — и все-таки страшно не был. Непередоваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих. Торчащие кверху, короткие волосы Пьеро—Керенского и реденькие, гладенько-причесанные волосы Царя. Крамольник и царь. Пьеро и « charmeur » *. С.-р. под наблюдением охранки — и его Величество Император Божьей Милостью.

Сколько недель прошло? Крамольник — влиятельный министр, Царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги — Истории, и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. « Charmeur » бедный, как смотрят твои глаза? Верно, с тем же спокойствием...

Но я совсем отошла в сторону — в незабываемое впечатление аккорда двух лиц — Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего — и пленительного и странного.

Возвращаюсь. Итак, сегодня — это все тот же Керенский. Тот же... и чем-то неуловимо другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ) как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда... Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и, однако, она уже есть. Она чувствуется.

* Публикуется в сокращении. Орфография и пунктуация — авторские.

* Очаровывающий; здесь: «душка» (фр.)

Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть свысока), что очень рад, если будет «грамотная» большевицкая газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым[2], будто бы, теперь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще, ведут себя теперь хорошо».

Мы не возражали, спросили о «дозорщиках»[3]. Керенский резко сказал:

— Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится... Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами...

...Бранил Соколова[4].

Д. С.* спросил: «... а вы не знаете, что Приказ № 1[5] даже его рукой и написан?»

Керенский закипел.

— Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.

Бегал по комнате, вдруг заторопился:

— Ну, мне пора... Ведь я у Вас «инкогнито»...

Непоседлив, как и без «инкогнито» — исчез. Да, прежний Керенский, и — на какую-то линийку не прежний.

Быть может, он на одну линийку более уверен в себе и во всем происходящем нежели нужно?

22 марта. Среда.

...Правительство молчит о войне[6].

Сытин, на-днях, по-сытински, цинично и по-мужицки вкусно толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить «землю». Улыбаясь, суживал глаза, успокаивал: «ну, что ж, у нас, есть Волга, Сибирь... эка беда, если Питер возьмут».

Сегодня был А. Блок. С фронта приехал... Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается... Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну, как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «весело!» Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?) Сейчас растерян. Спрашивает безпомощно: «что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?»...

25 марта. Суббота.

...Правительство о войне (о целях войны) — молчит. А Милюков на днях заявил опять, прежним голосом, что России нужны проливы и Константинополь. «Правдисты», естественно взбесились. Я даже и секунды не останавливаюсь на том, нужны ли эти чортовы проливы нам, или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову — во сто раз непростимее его фатальная бестактность. Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента, на свою же голову (и хоть бы только на свою).

Керенский должен был официально заявлять, что «это личное мнение Милюкова, а не пр-ва»... Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к поднятию «престижа власти».

А декларации нет, как нет...

...Вчера, поздно, когда все уже спали, и я писала, одна — звонок телефона. Подхожу — Керенский. Просит: «нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство...» «Я попрошу Дм. Серг-ча прийти, непременно»... подхватываю я. Он объясняет как пройти...

И сегодня утром Мережковский туда отправился. Не так давно он поместил в «Дне» статью «14 марта». «Речь»[7] ее отвергла, ибо она была тона примирительного и во многом утверждала декларацию советов о войне. Несмотря на то, что Д. С. в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу, и строго это подчеркивал,— «Речь» не могла поместить: Милюков круглый враг всего, что касается революции. Даже не судит,— отвергает без суда. Позиция непримеримая (и слепая). Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается, в самые неподходящие моменты.

Но Д. С. в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться.

К сожалению, Д. С. вернулся от Керенского какой-то растерянный и растрепанный, и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом за разумом. Согласен, что правительственная декларация необходима. Однако, не согласен и с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии [8]. Что декларация правительством теперь вырабатывается, но что она вряд ли понравится «дозорщикам» и что, пожалуй, всему правительству придется уйти (поэтому ??...) О Совете говорил, что это «кучка фанатиков», а вовсе не вся Россия, что нет «двоевластия» и правительство только одно. Тем не менее тут же весьма волновался по поводу этой «кучки» и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного.

Д. С., конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского во всю пугать; говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике...

Рассказ бестолковый, но, кажется и разговор был бестолковым...

5 апреля. Среда.

...Я так пристально и подробно останавливаюсь на «личностях» в моей записи потому, что не умею верить в события, совершающиеся вне всякого элемента личных воль. «Люди что-то весят в истории», этого не обойдешь. Я склонна преувеличивать все, но это мои ошибки; приуменьшать — будет такой же ошибкой.

Что же, однако, случилось?

...Приехал Плеханов. Его мы часто встречали заграницей... Это европеец, культурный, образованный, серьезный, марксист, несколько академического типа. Кажется мне, что не придется он по мерке нашей революции, ни она ему. Пока — восторгов его приезд будто, не вызвал.

Вот Ленин... Да, приехал таки этот «Тришка»[9], наконец. Встреча была помпезная, с прожекторами. Но ... он приехал через Германию. Немцы набрали кучу таких «вредных» тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте.

Ленин немедленно, в тот же вечер, задействовал: объявил, что отрекается от социал-демократии (даже большевизма), а называет себя отныне «социал-коммунистом»[10].

Была, наконец, эта долгожданная запоздавшая декларация правительства о войне.

Хлипкая, слабая, безвластная, не ясная. То же, те же «без аннексий», но с мямленьем и все вполголоса, и жидкое «оборончество» — и что еще? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел и ненавидит войну...

9 мая.

...В Петербурге уже «коалиционное» министерство[11]. Чернов (гм! гм!)...

Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. Но совсем так, как я себе рисовала, отчетливых действий «обеими руками» я не вижу...

... О Милюкове и Гучкове теперь все, благородные и хамы, интеллигенты и партийные, говорят то, что я говорила несколько лет подряд. Обрадовались! Нашли время! Теперь поздно. Ненужно.

18 июня. Воскресенье.

...Вот главное: «коалиционное» правительство, совершенно так же, как и первое [12], власти не имеет. Везде разруха, развал, распущенность. Большевизм, примыкающий к анархизму, пришелся по нраву нашей темной, невежественной развращенной рабством и войной массе...

* Дмитрий Сергеевич Мережковский.

...Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями. А бунт поднимается... Наверху большевики. Они и пользуются круглым ничегонепониманием тех, которых намерены привести в бунтовское состояние. Вернее — из пассивно-бунтовского состояния привести в активно-бунтовское.

...Наивный эгоизм дезертиров, вызываемый проповедью большевиков, конечно, хуже всяких «воинственных» настроений, которые вызывала царская палка. Вскрывается животное отсутствие совести.

Немилосердна эта тяжесть «свободы», навалившаяся на вчерашних рабов. Совесть их еще не просыпалась, ни проблеска сознания нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да еще шевелится темный инстинкт широкой русской «вольницы» (не «воли»).

Хочется взывать к милосердию. Но кто способен дать его сейчас России? Несчастной, невиновной, опоздавшей на век России — опять, и здесь, опоздавшей?

Оказать им милосердие — это сейчас значит: дать им власть. Человеческую — но настоящую власть, суровую, быть может, жестокую,— да, да, не боюсь сказать жестокую, по своей прямоте, если это нужно.

Взять на себя — и отдать им. Такова минута.

Какие люди сделают? Наше Пр-во? Не смешно, а невольно улыбаюсь. Бедные рыцари Свободы, умевшие «страдать» от власти и всю жизнь ее ненавидевшие!

...Носители власти должны не бояться своей власти. Только тогда она будет, настоящая. Ее требует наша историческая минута. И такой власти нет. И, кажется, нет для нее людей..

19 октября.

...Собственно все, даже мелкие течения жизни сейчас важны. Но почему-то, от «революционной привычки», что-ли, я впала в тупую скуку и лень записывать. Особенная, атмосферная скука.

Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий, держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «вся власть советам» (т. е. большевикам). Назначили самовольный съезд Советов, сначала на 20-е когда и объявили, было, знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое — на 25 октября. Ленин каждодневно в «Рабочем Пути» (б. «Правда»), совершенно открыто, натравливал на этот погром, утверждая его как дело решенное...

...Было у нас много разных заседаний, бывали мы у Л. и Бориса *, но вот отмечу один недавний вечер, не лишенный любопытности.

* Борис Викторович Савинков.

У Г/лазберга/ (крупный делец на Вас. Остр.). По инициативе М., вкупе с теми интеллигентными кружками, что процветали до революции. Цель — посовещаться о «возможности» коллективного протеста интеллигенции против большевиков...

...Мы, с Борисом и Л., приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова (она в «предбаннике», а муж ее, Прокопович, чего то министр) [13]. Были Карташов [14], Макаров, кн. Андронников и т. д.

Ни малейшей тени «коллективизма» не вышло, конечно. О предмете, т. е. о большевиках и о данной минуте, говорил только Борис, предлагавший, как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий манифест [15] и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь реагирование.

Карташов, совершенно безотносительно, занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то «национальной» партии со Струве; говорили и другие,— вообще, но со слезой, а больше всех меня поразила Кускова, эта женщина, отличающаяся какой-то исключительной политической и жизненной недальновидностью. И знаю это ее свойство, и каждый раз поражаюсь.

Она говорила длинно-предлинно, а смысл ее речи был тот, что «ничего не нужно», а нужно все продолжать, что интеллигенция делала и делает. Подробно и не без умиления рассказывала о митингах, и «как слушают, даже солдаты!», и что где на оборону или вообще какой-нибудь сбор, «то ни один солдат мимо не пройдет, каждый положит...», ну, и дальше все в том же роде. Назад она везла нас в своем министерском автомобиле и высказывалась все в том же духе. Допускала, что «может быть, и нужна борьба с большевиками, но это дело не наше, не интеллигентское (выходило так, что и не «правительственное»), это может быть Бориса Викторовича дело, только не наше. А «наше» дело — значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать?!

Да где она? Да когда это все? Завтра «эти солдатики» в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги! Я не слепая, я знаю, что от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас во-время поднять голос, чтобы знали, на стороне каких мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга; отвечать за одни пушки, как за свои. А не то, что «пусть там разные Борисы Викторовичи с большевиками как хотят, а мы свою внутреннюю, мирно-демократическую, возродительную линийку, ниточку будем тащить себе» (!!).

И вот все оно и правительство — подобное же. Из этих интеллигентов-демократов, близоруких на № 1, без очков.

Я уже потом замолчала. Потом она увидит, скоро. Пушки далеко стреляют...

...Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльцо сделать. Да и то не торопятся. Можно погодить. Еще посмотрим...

21 октября. Суббота.

Завтра, 22-го, в воскресенье, назначено грандиозное моленье казачьих частей с крестным ходом. Завтра же «день Советов» (не «выступленье», ибо выступление назначено на 25-е).

...Сейчас больше 2-х ночи. Подхожу к телефону. Чепуха, масса голосов, в конце концов, мы оказались втроем.

Я.— Алло! Кто звонит?

Голос.— Вам что угодно?

Я.— Мне ничего не угодно, ко мне звонят, и я спрашиваю: кто?

Голос.— Я звоню 717-21.

Другой голос.— Я здесь, это Пав. Мих. Макаров, я звонил к Вам З. Н.

1-й голос (радостно).— Пав. Мих., я звоню к Вам!

Началось выступление большевиков на Фурштадской...

П. М.— Да, и на Сергиевской...

Голос.— Откуда вы знаете? Значит, правительству было известно?

П. М.— Да с кем я говорю?

(А я все слушаю).

Первый голос стал изъяснять свои официальные титулы, которые он спешит. Говорит, будто из Зимнего дворца; выходило как-то, что он спешит известить П. М-ча от Пр-ва о выступлении большевиков, а П. М. уже знает от того же пр-ва, которое... неизвестно что. Наконец, запыхавшийся голос от нас отстал. Спрашиваю П. М-ча, зачем же он ко мне звонил?

— Вы слышали?

— Да, но что же делать. А вы еще что-нибудь хотели сказать мне?

— Я хотел попытаться, не найду ли у Вас Бориса Викторовича. Его нигде нет.

Далее оказывается: Керенский телефонограммой отменил-таки завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом (они ненавидели Керенского). А большевики, между тем, и моленья не ожидая, выступили?

Скучная ночь. Я заперла, на всякий случай, окно. Мы как раз около казарм, на соединении Сергиевской и Фурштадской.

Пока что — улица тиха и черна самым обыкновенным образом.

24 октября. Вторник.

Ничего в ту ночь и на следующий день не произошло. Сегодня, после все усиливающихся угроз и самого напряженного состояния города, положение следующее.

Большевики со вчерашнего дня внедрились в штаб, сделав, военно-революционный комитет, без подписи которого «все военные приказания недействительны» (Тихая сапа).

Сегодня несчастный Керенский выступал в Предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны (а до сих пор все уговаривал), и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки пр-ва. Нашел, у кого просить и когда!..

...Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же время Выборгская сторона отложилась, в Петропавловской крепости весь гарнизон «за совесть», мосты разведены.

...Все, как будто, в одинаковой панике, и ни у кого нет акций самопроявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо свечей нет, ни керосина нет.

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Вр. правительство...

...Сейчас большевики захватили «Пта» (Пет. Телегр. Агенство) и телеграф. Правительство послало туда броневики, а броневики жадно братаются. На Невском стрельба.

Словом, «готовится «социальный переворот», самый темный, идиотичный и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час...

...Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога.

...Какое «потерянное дитя»,— А. Блок! (Он сам сказал, когда я говорила про Борю *: «О я такое же потерянное дитя»). Я звала его недавно в савинковскую газету, а он мне и понес «потерянные» вещи: что я. мол. не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!), я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир на-зло английским империалистам... Честное слово! Положением России доволен — «ведь она не очень страдает»... Слова «отечество» уже не признает. Все время оговаривается, что хоть он теперь и так, но «вы меня, ведь, не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему?» Спорить с ним бесполезно. Он ходит, «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все «большевики». (Но там, в этой вечности Троцким не пахнет, нет!)

* Андрей Белый (Борис Бугаев).

С Блоком и Борей (много у нас таких самородков) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают и поэтому произносят слова, в 3-х измерениях приглушно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну, был исключительно ярым антисемитом («всех жидов перевешать») и т. д. Вот и относись к этим «потерянным детям» по-человечески!

Электричество что-то не гаснет. Верно потому, что большевики заседают «перманентно». Сейчас нам принесли свежие большевицкие прокламации. Все там гидры, «поднявшие головы», гидра и Керенский. Заверения, что «дело революции» (тьфу, тьфу) в твердых руках.

Ну, чорт с ними.

25 октября. Среда.

Пишу днем, т. е. серыми сумерками.

... город в руках большевиков...

...Заняли вокзалы, Мариинский дворец (высадив без гроша «предбанник»), телеграф, типографии... (В Зимнем дворце сидят министры. окруженные «верными войсками»?).

Последние вести: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь привести войска, но...

Верховский [16]), по-видимому, передался большевикам.

Красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом и сегодняшним грязным, темносерыми, склизкими тучами.

Данный, значит, час таков: все бронштейны * в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки «Пр-ва» сидят в Зимнем дворце. Карташов недавно звонил домой в общеспокоительных тонах, но прибавил, что «сидеть будет долго»...

В 10 ч. вечера (Электричество только зажглось).

Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышна здесь. Звонят, что это будто бы, крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для охраны в корниловские дни) обстреливали Зимний дворец. Дворец, будто бы, уже взят. Арестовано ли сидящее там правительство в точности неизвестно. Город до такой степени в руках большевиков, что уже и «директория» или нечто вроде назначена: Ленин, Троцкий — наверно; Верховский и другие — по слухам...

* Бронштейн — настоящая фамилия Л. Д. Троцкого, употребленная З. Н. Гиппиус как нарицательное имя.

26 октября. Четверг.

Торжество победителей. Ночью после обстрела, Зимний дворец был взят. Сидевших там министров (всех до 17, кажется) заключили в Петропавловскую крепость...

...Вчера вечером. Городская Дума истерически металась, то посылая «парламентеров» на «Аврору», то предлагая всем составом «идти умирать вместе с правительством». Но не из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло...

...Пока что, на съезде * от большевиков отгородились почти все, даже интернационалисты и черновцы [17].

Позиция казаков: не двинулись. Психологически понятно,— защищать Керенского, который потом их объявит контр-революционерами?..

Но дело не в психологии теперь. Остается факт — объявленное большевистское правительство, где премьер — Ленин-Ульянов, министр иностранных дел — Троцкий-Бронштейн, призрения — г-жа Коллонтай и т. д.

Как заправит это правительство — увидит тот, кто останется в живых.

Кажется. большевики быстро обнажаются от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними... вовсе не «большевики», а вся беспросветно-глухая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слово «мир». Но хотя — чорт их знает, эти «партии», черновцы, например, или новожизненцы (интернационалисты). Ведь и они о той же большевицкой дорожке мечтали. Не злятся ли теперь и потому, что «не они», что у них-то пороху не хватило (демагогически)?

27 октября. Пятница.

...Слухи. слухи о разных «новых правительствах» в разных городах...

...Уже не слухи — или тоже слухи, но упорные — что Керенский с какими-то фронтовыми войсками, в Гатчине [18].

Захватчики, между тем, спешат. Троцкий уже выпустил «декрет о мире». А захватили они решительно все.

«Министров-социалистов» сегодня выпустили. И они — вышли,

* II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

оставив своих коалиционистов-кадет — в бастионе. Это страшно.

28 октября. Суббота.

Только четвертый день мы «под властью тьмы», а точно годы проходят.

Сейчас льется проливной дождь. В городе — полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели — да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам? Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками...

...Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает... не хочу и определять, что именно, однако, очень много, и между прочим, *гражданскую войну без конца и без края*...

29 октября. Воскресенье.

Узел туже, туже... Около 6 часов прекратили телефоны,— станция все время переходила то к юнкерам, то к бол-кам, и, наконец, все спуталось... О войсках Керенского слухов много,— сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя...

Газеты все задушены. Петропавловка изолирована. Петербург,— просто жители,— угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни!

30 октября. Понедельник. 7 ч. веч.

Положение неопределенное, т. е. очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись.

Войска не пришли. (И не придут, что уже ясно)...

1 ноября. Среда.

...Все идет естественным (логическим) порядком. Как по писанному,— впрочем ярче и ужаснее всякого «писанного». Дополнения ко вчерашнему такие: здешние продолжают соглашаться... между собой, о том, что нужно соглашаться с большевиками. В думском комитете до последнего сидели, все разговаривали, обсуждали состав нового «левого» правительства, чуть не все имена перебрали... так, как будто все у них в кармане и большевики положили завоеванный «Петроград» к их ногам. Самый жгучий вопрос решили: соглашаться ли с большевиками? Решили. Соглашаться. Как вопрос о соглашательстве стоит у большевиков — этим не занимались. Разумелось само собой, что большевики только и ожидают, когда снизойдут к ним другие левые партии.

В думском комитете, где осталось бол-ков весьма немного из захудалых,— да и те просто «присутствовали» — назначения так и сыпались. Чернов, конечно, премьер... Очевидец мне рассказывал, что жалкое и страшное совещание все время сопровождалось смехом и что это было особенно трагично. Предлагали так, просто, кого кто придумает. Предложили знаменитого Н. Д. Соколова,— его кандидатура была встречена особым взрывом смеха, но благосклонно. Вообще захудалые большевики мало против кого возражали, они помалкивали и только смеялись. Горячо галдели все остальные.

...Имею верные сведения, что Керенский отдал приказ отойти от Гатчины. Царское было раньше оставлено: туда, после оставления войсками Гатчины, явились, свободно и смело большевики. Распубликовали что «Царское взято». Застрелили спокойно коменданта (не огорчайтесь, А. Ф., это не «демократическая» кровь), стали сплошь врываться в квартиры. Над Плехановым издевались самым площадным образом, в один день обыскивали 15 (Sic) раз. Больной туберкулезом старик слег в постель, положение его серьезно.

Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь, по каким угодно рассказам и записям, мог понять и представить себе нашу здесь атмосферу. В ней надо жить самому.

6 ноября. Понедельник.

...Я кончу, видно, свою запись в аду.

Впрочем — ад был в Москве, у нас еще предадье, т. е. не лупят из тяжелых орудий и не душат в домах. Московские зверства не преуменьшены.

...Очень странно то, что я сейчас скажу. Но ...мне скучно писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого безсмыслия — скука. Вихрь событий и — неподвижность. Все рушится, летит к чорту и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей. И пахнет мертвичиной... Все делается посредством «как бы» людей и уже не людей. Страшен автомат,— машина в подобии человека. Не страшней ли человек — в полном подобии машины, т. е. без смысла и без воли?

Это — война, только в последнем ее, небывалом, идеальном пределе: обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие куда и зачем. И человеку в этой «войне машин» — было бы — сверх всех представимых чувств — еще скучно.

Я буду, конечно писать... Так, потому, что я летописец. Потому, что я дышу, сплю, ем... Но я не живу.

...У Х. был Горький. Он производит странное впечатление. Темный весь, черный, «никакой». Говорит — будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нем было тяжело. (Она — милая француженка, виноватая перед Горьким лишь в том, разве, что ее муж «буржуй» и «кадет»). И вообще получилась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается [19].

— Я... Органически... Не могу... Говорить с этими мерзавцами... с Лениным и Троцким...

Только все о своей статье, которую уже он «написал»... для «Новой жизни». Для завтрашнего номера...[20] Да чорт в статьях! Х. пошел провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Тогда уже я прямо к Горькому: никакие, кричу, статьи в «Новой жизни» не отделят вас от большевиков,— вам надо уйти из этой компании! И, помимо всякой «тени» в чьих-нибудь глазах, что сам он, сам-то перед собой? Что говорит его собственная совесть?

Он встал, что-то глухо пролаял:

— А если... Уйти... с кем быть?

Д. С. живо возразил:

— Если нечего есть — есть ли все-таки человеческое мясо?

Я хотела крикнуть:

— Да с Россией быть.

Но в эту минуту вошла Третьякова, еще кто-то, тяжкий разговор прервался. И Горький ушел, черный, сутулый, жалкий и страшный.

КОММЕНТАРИИ

1) Сохранившаяся у З. Н. Гиппиус часть «Петербургского дневника» вышла впервые книгой в 1929 г.— Зинаида Гиппиус. Синяя книга. Петербургский дневник 1914—1917. Белград. 1929.

2) Речь идет о создании газеты «Новая жизнь» (апрель 1917 — июнь 1918), объединившей группу социал-демократов, так называемых меньшевиков-интернационалистов отдельных интеллигентов полубольшевистской ориентации. А. М. Горький возглавлял редакцию газеты, в состав которой входили публицист и историк Ю. М. Стеклов (1873—1941) и Н. Н. Суханов (1882—1940), один из лидеров и теоретиков меньшевизма, публицист и экономист.

С первого же номера газета объявила своей программой борьбу против империалистической войны и объединение всех революционных и демократических сил для удержания социальных и политических завоеваний Февральской революции (однако далека была от лозунга большевиков: «превращения империалистической войны в войну гражданскую», вступая таким образом в полемику о путях выхода из войны); значительное место в программе отводилось развитию культуры, просвещения и науки.

3) «Дозорщиками» З. Н. Гиппиус называет членов «контактной комиссии» Петроградского Совета, образованной 6—10 марта для «взаимоотношений с Временным правительством». После февральских событий Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов отказывается от предложения Временного комитета Государственной думы войти в формирующийся кабинет представителям Совета (прямое участие в «буржуазном правительстве» могло скомпрометировать членов Совета в глазах революционных масс). Поэтому было решено создать орган из представителей Совета, который бы контролировал деятельность Временного правительства. Именно таким органом и стала «контактная комиссия», в состав которой входили: Ю. М. Стеклов, Н. С. Чхеидзе, Н. Н. Суханов (меньшевики), позднее вошли И. Г. Церетели (меньшевик), В. М. Чернов (эсер) и др.

4) Соколов Николай Дмитриевич (1870—1928) — известный адвокат, «внефракционный социал-демократ». После Февральской революции — секретарь Исполкома Петроградского Совета; создатель «Приказа № 1». Впоследствии — чиновник при Временном правительстве.

5) 2 марта 1917 г. Временному комитету Государственной думы был представлен утвержденный на объединенном заседании рабочей и солдатской секции Петроградского Совета «Приказ № 1», который возник по инициативе и при участии солдатских депутатов. В нем закреплялись положения по демократизации армии: узаконивалось самочинное возникновение армейских комитетов, солдаты наделялись гражданскими правами, под контроль комитетов ставилось хранение оружия и др.

6) Речь идет о позиции Временного правительства, образованного 2(15) марта, относительно целей, задач и последующего ведения войны в новых условиях (после победы Февральской революции). Официальная точка зрения к 22 марта не была обнародована, исключая опубликованное 10 марта «Воззвание к армии и населению от Временного правительства», где в самых общих фразах подтверждалась верность союзническим договорам перед странами Антанты, призывов к сплочению для защиты «обновленного строя» и т. п., что безусловно не могло удовлетворить уставшее от войны и неопределенности население России.

7) 19 марта Д. С. Мережковский опубликовал в либерально-буржуазной газете «День» статью о необходимости поисков достойного выхода для России из войны,— учитывая мнение большинства, выраженное 14 марта (отсюда и название статьи) в Манифесте Петроградского Совета, и государственные интересы, о чем должно высказаться «законное» правительство в своей декларации о войне.

Газета «Речь» (23 февраля 1906 — 26 октября 1917) — орган конституционно-демократической партии. Издавалась в Петербурге при участии И. В. Гессена и В. Д. Набокова. С первых дней Февральской революции «Речь» заняла позицию, враждебную Советам.

8) Имеется в виду открытый призыв к народам Европы, минуя «законные» правительства, содержащийся в Манифесте.

9) В более поздних записях З. Н. Гиппиус вспоминала, что Мережковский так упорно в те дни (после Февральской революции) возвращался к Ленину («нашу судьбу будет решать Ленин»), что «я невольно вспомнила тургеневский «Бежин луг», таинственного «Тришку», прихода которого там все боялись, и стала называть Ленина «Дмитриевым Тришкой».

10) З. Н. Гиппиус имеет в виду позицию В. И. Ленина, которая была декларирована после его возвращения из эмиграции («Апрельские тезисы»), о программе перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической. Новая стратегическая задача партии большевиков влекла за собой изменение программы партии и ее названия.

11) 1-е коалиционное правительство (6/19/мая — 23 июля /5 августа/). Заявление П. Н. Милюкова 18 апреля (нота Милюкова) «о всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы» и ряд мер Временного правительства привели к открытому выступлению революционных масс, выражая недоверие существующему правительству. Последовала отставка П. Н. Милюкова — министра иностранных дел и А. И. Гучкова — военного министра. Спасая положение, правительственный кабинет расширяет «социальную и политическую базу» Временного правительства и по соглашению с Исполкомом Петроградского Совета включает в состав нового коалиционного правительства 6 министров-«социалистов» (лидеров мелкобуржуазных партий): Чернова, Церетели, Скобелева, Пешехонова, Переверзева.

12) 2-е коалиционное правительство (24 июля/6 августа/ — 24 сентября/8 октября/) — правительство, сформированное А. Ф. Керенским после массовых июльских выступлений рабочих. Новый кабинет открыто выступил против нарастающего революционного движения, приняв ряд чрезвычайных мер (введение смертной казни, военно-полевых судов, арест лидеров левых партий и т. д.).

13) Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958/?/) — общественный деятель, член социал-демократической партии. Журналистка либерального направления. Член «Союза освобождения», после Октябрьской революции издавала газету «Власть народа». Член Всероссийского комитета помощи голодающим. Была вместе с мужем С. Н. Прокоповичем арестована с обвинением «делает политику под прикрытием помощи голодающим». После освобождения, в 1922 г., были высланы за границу.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — известный русский экономист, с 1905 г.— член ЦК партии кадетов. Деятель «Союза освобождения». С 15 сентября (8 октября) 1917 г.— министр продовольствия в 3-м коалиционном правительстве. После Октября преподавал в Московском университете. Один из руководителей Общественного комитета помощи голодающим (1921). Арестован. Выслан за границу.

14) Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — богослов, государственный и церковный деятель. Преподавал в Петербургской духовной академии и на женских Высших курсах. Обер-прокурор Священного Синода; министр исповеданий Временного правительства. В 1918 г. был арестован, в январе 1919-го покинул Россию.

15) 22 августа З. Н. Гиппиус отправляет письмо А. Ф. Керенскому о необходимости «или властвовать или передать фактическую власть более способным, Савинкову, например». Позднее, в дневнике от 21 сентября, думает о манифесте «резком, кратком от молчаливой интеллигенции». Манифест, по-видимому, был составлен и обнародован на описываемом собрании.

16) Верховский Александр Иванович (1886—1938) — генерал-майор (1917), комбриг (1936). Окончил Академию генштаба в 1911 г. Участник русско-японской и первой мировой войн. В июле — сентябре 1917 г. командующий войсками Московского военного округа. Выступил против корниловского мятежа. 3 августа назначен военным министром Временного правительства. Настаивал на выходе России из войны и демобилизации армии. Из-за несогласия по этим вопросам 22 октября вышел в отставку. В 1919 г. вступил в Красную Армию.

17) Меньшевики и правые эсеры, огласив декларацию протеста «против военного заговора и захвата власти», покинули съезд. К ним присоединились меньшевики-«интернационалисты».

18) 26 октября (8 ноября) А. Ф. Керенский, бежавший из Зимнего дворца в Псков, в штаб Северного фронта, как верховный главнокомандующий, отдал приказ частям 3-го конного корпуса (казаки) о движении войск на Петроград. Попытки поднять другие фронтовые части не увенчались успехом. 23—27 октября «верные» Временному правительству войска под командованием генерала П. Н. Краснова заняли Гатчину и Царское Село.

19) З. Н. Гиппиус пишет в своих воспоминаниях: «...жены заключенных министров попросили его (Горького) похлопотать ...иет, попросить о них своих друзей большевиков». С этой же просьбой обратились к А. М. Горькому жены А. И. Коновалова и С. Н. Третьякова, упоминаемые в этой дневниковой записи.

20) А. М. Горький говорил о статье «К демократии», которая была опубликована в газете «Новая жизнь» 7(20) ноября 1917 г.

Новая рубрика «Детское чтение» адресована тем, кто через 10—15 лет станет читателем взрослых страниц «Родины». Литература для детей — воспитывающая, объясняющая — возникла не вчера: еще Владимир Мономах адресовал свое «Поучение» детям. Мы предполагаем знакомить наших юных читателей с лучшими образцами детской литературы по истории, прошедшими испытание временем. И не случайно начинаем эту рубрику со знакомства с творчеством детской писательницы Александры Ишимовой, литературные опыты которой были одобрены еще А. С. Пушкиным.

АЛЕКСАНДРА ИШИМОВА

ПЕРВОЕ РУССКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

От 1178 до 1185 года

27 января 1837 г. В Петербурге.
Милостивая государыня
Александра Осиповна,
Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. *Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!*
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть
Вашим покорнейшим слугою

А. Пушкин.

Адресат последнего пушкинского письма Александра Осиповна Ишимова (1804 — 1881) вспоминала: «Человек с его письмом и книгою отправлен был им ко мне перед самым отъездом его на смерть, и когда он пришел от меня, то Александр Сергеевич уже привезен был раненым».

Поэт не мог откликнуться на приглашение писательницы, так как знал уже о другой встрече в этот день. Тем значительнее его последние слова: «Вот как надобно писать!» Одобрення удостонлась кнНга «История России в рассказах для детей», вышедшая в 1836 году, она выдержала до конца XIX века 6 изданий и получила в 1852 году Демидовскую премию. Составлена книга из отдельных рассказов о различных периодах русской истории, без сомнения, под прямым влнянием «Историн» Н. М. Карамзина. Современников пленяла простота и выразительность изложения. «Дети имеют теперь полную историю России, представленную не в сухих, отрывочных фактах, но в прелестных рассказах», — отмечал В. Г. Белинский.

Александра Осиповна Ишимова — одна из первых профессиональных детских писательниц. Всего ею написано около 25 книг, среди которых неизменным успехом пользовались «Священная история в разговорах для детей», «Рассказы бабушки», «Рассказы для детей по естественной истории». Она издавала журнал «Звездочка» (1842—1863) для детей, а в 1850—1866 — журнал «Лучи» для девиц. В них, кроме ее собственных сочинений и переводов, печатались произведения многих замечательных писателей того времени.

ИРИНА ВРУБЕЛЬ



Верно, многие из вас, милые дети, с восхищением слушают, когда старшие братцы или сестрицы ваши читают прелестные сказки Жуковского и Пушкнна? Может быть, даже вы знаете нанзусть некоторые? Припомнив из них несколько приятных строчек, прочитайте потом следующие:

«Ярославна рано плачет в Путивле на забрал аркучн: «О ветре ветрило! чему Господине насильно веяше? Чему мычешн Хановские стрелкн на своею нетрудною крильце, на моея лады воев! Мало ти бяшет еор под облаки веяти, мелеючи корабли на сине море! Чему, Господине мое, веселие по ковылию развея! О Днепре словутице! Ты пробил еси каменныя горы сквозь землю Половецкую; ты лелеял еси на себе Святославли носады до полку Кобыкова! Возлелей, Господине, мою ладу ко мне, а бых не слала ко нему слез на море рано!»

Каково показалось вам это, милые дети! Однако ж, это также стихи, сочиненные при велнком князе Всеволоде Георгиевиче, в XII веке. Они взяты из первой русской поэмы, которая называется: *Слово о полку Игореве.* Мы называем ее первою, потому что она была *первая,* до нас дошедшая; но надобно думать, что и до того времени были поэты русские: сочинитель *Слова о полку Игореве* говорит о *Соловье* старого времени, стихотворце Бояне, который сладко пел о славе князей наших. Сочинения их вероятно затерялись во время беспрестанных войн, пожаров и грабительств, разорявших в старину наше Отечество.

Слово о полку Игореве, значит повесть или рассказ о походе Игоря. Игорь был внук знаменитого Олега Черниговского н князь Новгорода-Северского. Этот город находился в земле Северской, там, где теперь две губернии наши: Черниговская и Полтавская. Игорь с самых молодых лет был чрезвычайно храбр, любил войну и для славы готов был с радостью умереть. В 1184 году князья южной России, из которых главным был Святослав Всеволодович Киевский, не сказав ни слова Игорю Северскому, пошли против злых врагов Отечества — половцев, и 30 июля одержали над нними славную победу, взяли в плен 7000 человек, 417 князьков, в том числе знаменитого Кобяка, множество прекрасных лошадей азиатскнх и разного оружия. Даже самый храбрый из ханов, Кончак, был разбит ими, несмотря на то, что у него было *огнестрельное оружие,* которое предки наши называли *живым огнем.*

Слава о такой победе разнеслась по всей земле русской. И большие, и маленькие говорили о храбрых князьях; певцы пели о делах нх в песнях; сказочники — рассказывали в сказках. Многие завидовалн такой славе — и всех более князь Игорь Северский. Он потерял совершенно прежнее спокойствие и веселость свою, сердился на князей за то, что они не пригласили его идти вместе с ними; думал только о том, чтобы прославиться еще более их, и для того начал вместе с меньшим братом своим, Всеволодом Курским, тайно приготовляться к походу. Не прошло и года, как уже оба смелые князя, с своими боярами, дружиною и наятыми черными клобуками пошли к Дону. Около этой реки раскинуты были шатры половецкие. Кончак, так недавно еще разбитый русскими, и пять других ханов удивились, увидев их опять пред собою. С ужасною злобою, с сильным желанием отомстить бросились они на наших, однако ж храбрые князья победили и принудили половцев бежать и оставить им в добычу весь стан и даже семейства свои.

Весело пировали русские князья в завоеванной земле и в шатрах неприятельских; гордо говорили: «что скажут теперь князья и братья наши? Они победили половцев у себя, дома, н не смели идти в их землю; а мы уже в ней, скоро будем н за Доном, где ннкогда еще не были отцы нашн; истребим всех *поганых* * и достанем себе славу вечную!»

Такая гордость, такое ненасытное желание прославиться истреблением невинных людей никогда не остаются без наказания. Это случилось и с Игорем. Он хотел истребить всех половцев, а между тем онн собрали силы свои и на берегах реки Каялы ** истребили почти все войско русское! Некому было даже принести в Отечество известие о несчастии их: все оставшиеся в живых были уведены в плен, в том числе князь Игорь и его брат Всеволод.

К счастию, случнлось в это время проезжать по Каяле каким-то купцам: им поручили половцы сказать в Киеве, что *теперь они могут обменяться* с Святославом пленниками.

Получив это известие, все князья опечалились. Святослав Киевский даже плакал; но ннкто не пошел выручать князей из плена, боясь такой же участи. Однако ж Игорь вскоре возвратился сам. Один крещенный половчанин помог ему убежать от хана Кончака, который, несмотря на жестокое сердце свое, уважал храброго Игоря и не обижал его во время плена, но позволил ему жить как князю, иметь у себя слуг, священника и забавляться ястребиною охотою. Зато и Игорь не скоро согласился бежать от благородного неприятеля своего: только сильное желание увидеть печальную супругу, детей и народ свой заставило его решиться на такой поступок, который он всегда называл постыдным.

Кончак не рассердился за это на Игоря; но *упустив сокола, хотел опутать соколенка,* сказано в *Слове о полку Игореве:* у Игоря был молоденькнй сын, Владимир, такой же храбрый, как и отец. Он был с ним в этом походе и не отставал от отца ни в каких опасностях. Вместе с ним попался он и в плен. Это был тот соколенок, которого хотел опутать хан Кончак. Такими словами сочинитель первой поэмы нашей хотел сказать, что благородный Кончак желал привязать к себе молодого Владимира любовию и благодарностию, и сделал это, выдав за него прекрасную дочь свою. Два года прожил молодой князь в новом семействе своем; в третьем начал просить тестя отпустить его на родину, н добрый Кончак согласился: Владимир уехал из земли половецкой вместе с женою своею.

Вот этот несчастный поход и плен Игоря описаны в первом стихотворении русском. Чтобы оценить все достоинства его, надобно хорошо понимать старинный язык наших предков, а вы видели из нескольких строк, в начале этой главы, что это невозможно для вас, милые дети. Итак, подождите, когда вы будете постарше: тогда вы, верно, скажете, что и самый старинный поэт наш не уступал нынешним. А до тех пор будьте довольны теми немногими строками, которые прочли здесь. Я постараюсь сделать их более понятными для вас. В них описывается горесть супруги Игоревой, когда она узнала, что он в плену у половцев.

«Ярославна плачет рано по утру, смотря с городской стены Путивля в чистое поле: «О ветер сильный! Для чего легкими крыльями своими носишь ты стрелы ханские на воинов моего друга! Разве мало для тебя веять на горах подоблачных и лелеять корабли на синем море?.. Для чего, о сильный, развеял ты веселие мое?.. О Днепр славный! ты пробил горы каменные, стремяся в землю половецкую; ты лелеял на себе ладии Святославовы до стана Кобякова: принеси же и ко мне друга милого, чтобы не посылала я к нему рано утром слез моих в синее море!»

Любезные читатели мои! Не правда ли, что это очень мило?

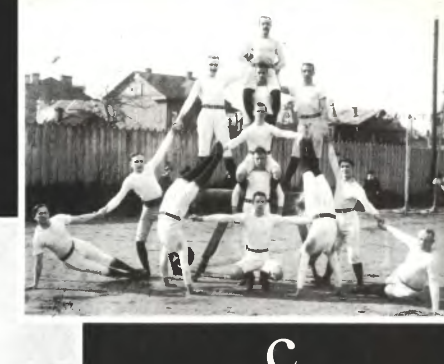
* Так всегда русские называли своих неприятелей, особенно нехристиан.

** Каяла — называется ныне Кагальником.

Рубрику ведет
кандидат исторических наук
ВЛАДИМИР НИКИТИН

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ...



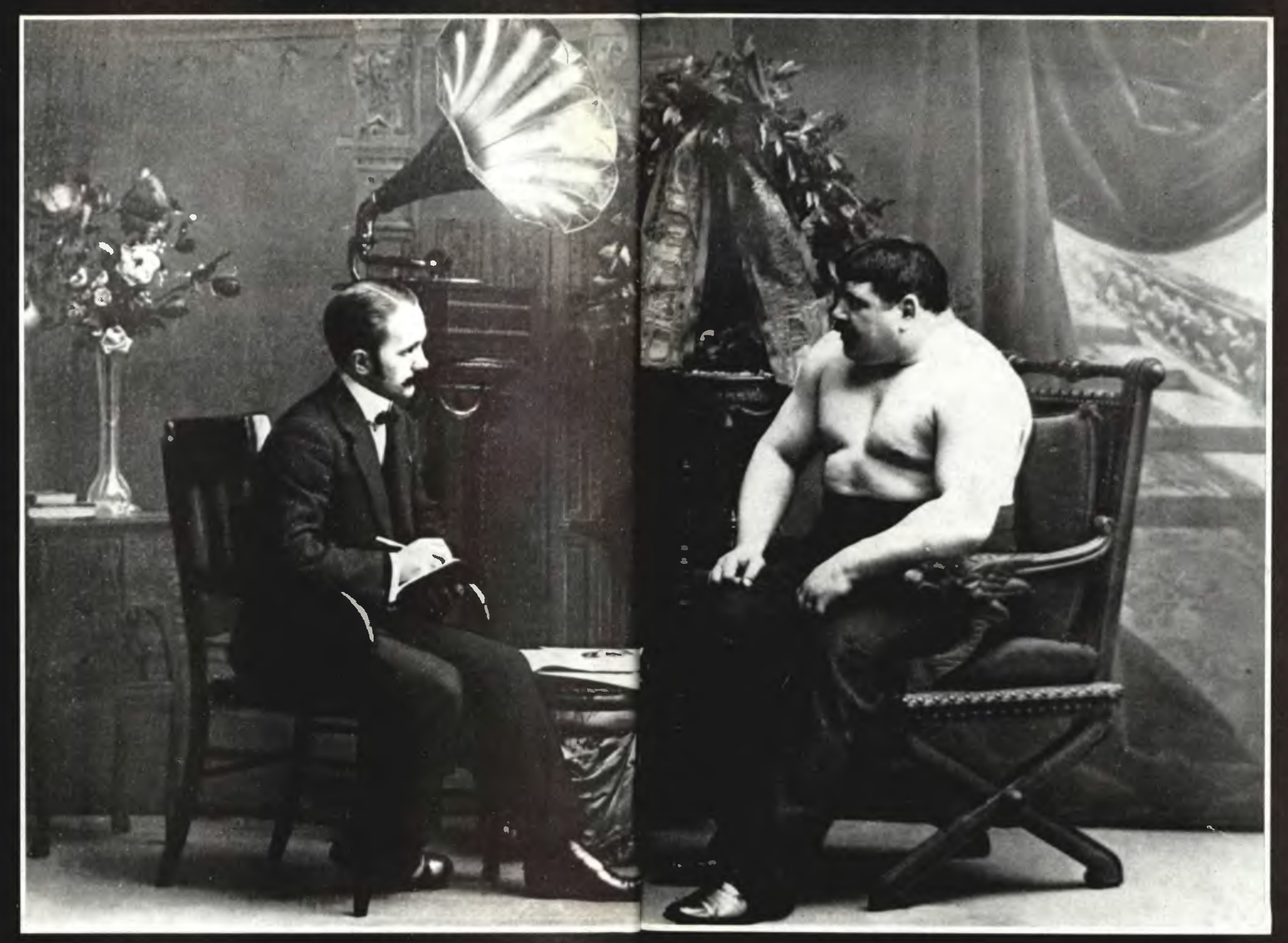


Силу и ловкость ценили и уважали на Руси. Но демонстрировать ее предпочитали лишь в работе или в ратном деле, профессиональное занятие "геркулесовыми подвигами" — спортом считалось совсем уж зряшним делом, странной причудой. Со времен Петра выступающие в цирках и балаганах силачи были "немцами", и честной народ валом валил поглазеть на "чудо-человеков", как они рвали цепи, поднимали тяжести, участвовали в борцовских поединках.

Бывало, правда, раззадоренный балаганным зазывалой и хмелем выйдет на арену добрый молодец, неуклюже потопчется вокруг иноземного "самсона", а потом изловчившись обхватит его поперек туловища да бросит куда-нибудь в музыкальную яму. Знай, мол, наших! В образованных слоях общества не особенно ценилась физическая культура, хотя фехтование, верховая езда всегда были частью аристократического и военного образования, охота — излюбленным занятием русского поместного дворянства.

На рубеже XIX-XX веков на дорогах России появляются велосипеды — иностранные "Мустанги" и "Инфельд циклы", тарахтят мотоциклетки, в парках мелькают ракетки лаун-теннисистов, в клубах, уподобляясь англичанам, боксируют молодые люди. Спорт становится массовым увлечением, модным занятием. И с велосипедистов налог: с каждого полтора рубля в казну.

Но самое страстное увлечение начала века, конечно, французская борьба. "Петербург осатанел от международных чемпионатов французской борьбы, — пишет обозреватель "Синего журнала" в 1911 году. — Именно осатанел, не подберу другого слова. Если не все бывают на борьбе, то все следят за отчетами. Все — санитары, гвардейцы, доктора, студенты, чиновники казенных канцелярий, приказчики и хулиганы".



Французский бокс



"В Москве выделяются три достопримечательности, — писал в свое время Влас Дорошевич, — Царь-колокол, Царь-пушка и "дядя Ваня". Молодой преподаватель гимнастики и атлетики Петербургского университета Иван Васильевич Лебедев — легендарный "дядя Ваня", был одинаково своим во всех слоях общества.

Издатель и редактор ряда спортивных журналов, в том числе и самого популярного в те годы спортивного издания — "Геркулес", он организует десятки турниров, на которых неизменно выступает как судья.

Его карьера антрепренера и судьи началась еще в 1905 году и продолжалась почти полвека: в 1948 году Иван Васильевич все еще судил схватки во время цирковых выступлений борцов.

Энтузиазм Ивана Лебедева в пропаганде спорта мог сравниться разве что с неуемной энергией его учителя — петербургского врача Владислава Францевича Краевского, основателя первого в России "атлетического кружка" (там, кстати, начинал и Лебедев), со временем превратившегося в Санкт-Петербургское Велосипедно-Атлетическое общество.

Пионеры спорта не были "узкими специалистами" — они думали о культуре тела в самом широком смысле, стремились к гармонии духа и тела: победитель многих



Английский бокс





чемпионатов России по велоспорту одес-сит Сергей Уточкин известен как авиатор; прославился своими полетами и любимец публики — знаменитый борец Иван Заикин; в историю вошел велопробег двух русских художников Сорохтина и Петрова-Водкина, проделавших в 1901 году путь от Петербурга до Парижа.

Активно включились в спортивную жизнь России и женщины. Помимо коньков, велосипеда, тенниса, где было уже привычно видеть дам, все чаще их можно было встретить на атлетическом манеже, и арене цирка, где они занимались тем, что сегодня называется культуризмом.

Были среди них и свои чемпионы. Сегодня нельзя без улыбки читать, как рекламировались на страницах спортивных изданий выступления атлетки Марины Лурс, "...сильнейшей женщины России...

Пусть в тех городах, где появятся плакаты Марины Лурс, пойдут в цирк посмотреть на нее городские дамы, чтобы видеть эту дочь Евы, по праву гордящуюся своей силой и гармонией форм. Глядя на нее, господа, приходится предать забвению привычные выражение — "слабый пол!"

И все-таки как массовое движение отечественной спорт возник сравнительно недавно — его история едва насчитывает неполных сто лет.



Сдано в набор 18.03.91. Подписано к печати 08.04.91. Формат 84×60⅛. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,16. Усл. кр.-отт. 31,62. Уч.-изд. л. 16,85. Тираж 151 846 экз Заказ № 389. Цена 1 руб. 50 коп.

Адрес редакции: 109316, Москва, Волгоградский проспект, 26. Тел. 270-52-54.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография им. В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.